

Константин Николаевич Леонтьев

Одиссей Полихрониадес



Константин Леонтьев
Одиссей Полихрониадес

«Public Domain»

Леонтьев К. Н.

Одиссей Полихрониадес / К. Н. Леонтьев — «Public Domain»,

«Хотя род наш весь из эпирских Загор, однако первое детство мое протекло на Дунае, в доме отца моего, который по нашему загорскому обычаю торговал тогда на чужбине. С берегов Дуная я возвратился на родину в Эпир тринадцати лет, в 1856 году; до семнадцати лет прожил я с родителями в Загорах и ходил в нашу сельскую школу; а потом отец отвез меня в Янину, чтоб учиться там в гимназии...»

Содержание

I. Мое детство и наша семья	5
I.	5
II.	9
III.	13
IV.	18
V.	22
VI.	30
VII.	37
VIII.	40
II. Наш приезд в Янину	46
I.	46
II.	52
III.	57
IV.	61
V.	69
VI.	77
Конец ознакомительного фрагмента.	80

Константин Леонтьев

Одиссей Полихрониадес

I. Мое детство и наша семья

Воспоминания загорского грека¹

I.

Хотя род наш весь из эпирских Загор, однако первое детство мое протекло на Дунае, в доме отца моего, который по нашему загорскому обычаю торговал тогда на *чужбине*.

С берегов Дуная я возвратился на родину в Эпир тринадцати лет, в 1856 году; до семнадцати лет прожил я с родителями в Загорах и ходил в нашу сельскую школу; а потом отец отвез меня в Янину, чтоб учиться там в гимназии.

Я обещался тебе, мой добрый и молодой афинский друг, рассказать подробно историю моей прежней жизни; мое детство на дальней родине, мои встречи и приключения первой юности. Вот первая тетрадь.

Если ты будешь доволен ею, если эти воспоминания мои займут тебя, я расскажу тебе позднее и о том, как я кончил ученье мое в Янине, что со мной случилось дальше, как вступал я понемногу на путь независимости и деятельной жизни, кого встречал тогда, кого любил и ненавидел, кого боялся и кого жалел, что думал тогда и что чувствовал, как я женился и на ком, и почему так скоро разошелся с моею первою женой. Вторая часть моего рассказа будет занимательнее и оживленнее, но она не будет тебе ясна, если ты не прочтешь внимательно эту первую. Прежде всего я расскажу тебе об отце моем и о том, как он женился на моей матери.

Он женился на ней совсем не так, как женятся другие загорцы наши.

Ты слышал, конечно, страна наша красива, но бесплодна.

Виноградники наши не дают нам дохода. По холмам, около селений, ты издали видишь небольшие круглые пятна, обложенные рядом белых камней.

Вот наши хлебные поля! Вот бедная пшеница наша!

Редкие колосья, сухая земля, усеянная мелкими камнями; земля, которую без помощи волов и плуга жена загорца сама вскопала трудолюбивыми руками, чтоб иметь для детей своих непокупную пищу в отсутствие мужа.

Да, мой друг! Мы не пашем, подобно счастливым фессалийцам, тучных равнин на живописных и веселых берегах древнего Пинея. Мы не умеем, как жители Бруссы и Шар-Кёя, искусно ткать разноцветные ковры. Не разводим миллионы роз душистых для драгоценного масла, как Казанлык болгарский. Мы не плаваем по морю, как смелые греки Эгейских островов.

Мы не пастыри могучие, как румяные влахи Пинда в белой одежде. Мы не сходим, подобно этим влахам, каждую зиму с лесистых вершин в теплые долины Эпира и Фессалии, чтобы пасти наши стада; не живем со всею семьей в походных шалашах тростниковых, оставляя дома наши и целые селения до лета под стражей одной природы, под охраной снегов, стремнин недоступных и дикого леса, где царит и бушует тогда один лишь гневный старец Борей!

¹ *Загоры* – гористый округ южного Эпира; он начинается около самой Янины и долгое время был подобен небольшой христианской республике под властью султана, на определенных особенных правах. Загоры в старину управлялись своими старшинами и имели своего особого представителя при янинском паше. Теперь этот край приравнен к другим уездам Турецкой империи. Мусульманских селе там нет и прежде не было.

Мы, признаюсь, и не воины, подобно соседям нашим, молодцам-сулиотам.

Греясь беспечно у дымного очага во время зимних непогод, бледный паликар славной Лакки сулийской поет про дела великих отцов своих и презирает мирные ремесла и торговлю. В полуразрушенном доме, без потолка и окошек, он гордо украшает праздничную одежду свою золотым шитьем. Серебряные пистолеты за сверкающим поясом, тяжелые доспехи вокруг гибкого стана, который он учится перетягивать еще с детства, ружье дорогое и верное для сулиота милее покойного, теплого жилия.

Мы, загорцы, не можем жить так сурово и беспечно, как живет сулиот.

Да, мы не герои, не пловцы, не земледельцы, не пастыри. Но зато мы загорцы эфирские, друг мой! Вот мы что такое! Мы те загорцы эфирские, которых именем полон, однако, Восток.

Мы везде. Ты это знаешь сам. Везде наше имя, везде наш изворотливый ум; если хочешь, даже хитрость наша, везде наш греческий патриотизм, и уклончивый, и твердый, везде наше загорское благо, и везде наше загорское зло!

Всюду мы учим и всюду мы учимся; всюду мы лечим; всюду торгуем, пишем, строим, богатеем; мы жертвуем деньги на церкви и школы эллинские, на возобновление олимпийских игр в свободной Греции, на восстание (когда-то), а теперь, вероятно, на примирение с теми, против кого восставали, быть может, на борьбу против страшного призрака славизма; не так ли, мой друг? Тебе, афинскому политику, это лучше знать, чем мне, скромному торговцу. Мы открываем опрятные кофейни и снимаем грязные ханы в балканских долинах и в глухих городках унылой Фракии; мы издаем газеты за океанами, в свободной Филадельфии, мы правим богатыми землями бояр молдо-валашских. Мы торгуем на Босфоре, в Одессе, в Марсели, в Калькутте и в азовских городах; мы в народных школах таких деревень, куда с трудом достигает лишь добрый верховой конь или мул осторожный, уже давно внушаем македонским детям, что они эллины, а не варвары болгарские, которых Бог послал нам в соседи за наши грехи (кажется, от тебя самого я слышал подобную речь).

Мы служим султану и королю Георгию, России и Британии. Мы готовы служить Гамбетте и Бисмарку, миру и войне, церкви и науке, прогрессу и охранению; но служа всему этому, искренно служим мы только милой отчизне нашей, загорским горам, Эпиру и Греции.

Радуйся, эллин! Радуйся, молодой патриот мой!

Видишь ты этого юношу, который так стыдливо и благоразумно молчит в кругу чужих людей? Еще пух первой возмужалости едва появился на его отроческих щеках... Ты скажешь: «он дитя еще»; не правда ли? Нет, мой друг. Он не дитя. Этот робкий юноша уже семьянин почтенный; он женат; он, быть может, отец!

Года два еще тому назад какие-нибудь старушки в его родном селе заметили его первую возмужалость. они долго совещались между собою; они считали деньги его родителей, судили о родстве его, связях и сношениях, и пришли, наконец, предложить его отцу, его матери или ему самому в жены соседнюю девушку, которая, как поет древний стихотворец, «едва лишь созрела теперь для мужчины».

За ней дают деньги; воспитана она в строжайшем благочестии; привычна к хозяйству; неумоима на всякую ручную работу; она не безобразна и здорова. Он соглашается. Ему нужна бодрая, деятельная хозяйка в отцовском доме, нужна помощница стареющим родителям; нужен якорь в отчизне; его душе необходим магнит, который бы влек его домой, хотя бы от времени до времени, из тех далеких стран, где он осужден искать счастья и денег.

И вот он муж, отец...

Теперь, когда загорец привык к своей новобрачной, когда содрогнулось его сердце в первый раз, внимая плачу новорожденного ребенка, – пусть собирается он смело в тяжкий путь на борьбу с людьми и судьбой, на лишения, опасности, быть может, на раннюю смерть. Теперь пусть он обнимет старую мать и жену молодую; пускай благословит своего ребенка... Ему в родном жилище нет уж больше дела, ему нет места здесь; его долг уехать и искать судьбы хоро-

шей в больших городах торговых, в дальних землях плодородных. И так жить ему теперь до старости и трудиться, лишь изредка навещая семью и родных, на короткий срок.

Откройся, сердце грустное, откройтесь, горькия уста,
Скажите что-нибудь, утешьте нас...
У смерти утешенье есть; есть у гибели забвенье...
А у разлуки заживо отрады вовсе нет.
Мать с сыном разлучается, и сын бросает мать.
Супруги нежные, согласные, и те в разлуке,
И в день разлуки той деревья высыхают,
А свидятся – опять деревья лист дают.
Так говорит эпирская старая песня разлуки.
Сорок слишком сел цветет в Загорах наших.

И не думай ты, это села бедные, как во Фракии или в иных полудиких албанских округах. Я помню, с каким ты презрением говорил о желтых хижинах болгарских, о том, как тебя клали в них спать на сырую землю, около худого очага, когда зимою ты ездил к родным в Филиппополь. Не понравились тебе простые фракийские болгары, ты звал их зверями в образе человека; ты порицал их овчинные шубы, не покрытые сукном, их черные чалмы, их смуглые, худые лица; в черных этих лицах ты тщательно отыскивал какие-то следы туранской крови.

Я помню, как негодовал ты на духовенство всех предков твоих за то, что не позаботились они «во-время» или не сумели, как ты говорил тогда, «эллинизировать (во славу рода нашего священного!) этих безграмотных и грубых чалмоносцев!»

Радуйся, эллин. Загоры наши не таковы.

И здесь (скрывать я этого не буду) течет много славянской крови. Но что значит кровь? Здесь Эллада по духу, Эллада по языку и стремлениям.

Любезные горы моей дорогой отчизны! Есть в Турции места живописнее загорских, но для меня нет места милее. Горы моего Эпира не украшены таинственной и влажною сетью диких лесов, подобно горам южной Македонии; широкий каштан и дуб многолетний не простирают на их склонах задумчивых ветвей. Холмы эпирские не обращены трудом человека в бесконечные рощи седых и плодоносных олив, подобно холмам Керкиры или критским берегам.

Только далее, к Пинду, где живет рослый куцо-влах, там шумят душистые сосны, толпясь на страшной высоте.

У нас, внизу, высоты наги; колючий дуб наш не растет высоко; мелкими и частыми кустами зеленеет он густо вокруг наших белых сел.

Но и без садов масличных и без леса дикого наши эпирские горы мне милы.

Радуйся, эллин афинский!..

Села наши загорские, хотя и носят старо-славянские имена, но они села эллинские, – богатые, красивые, просвещенные.

«Довра, Чепелово, Судена, Лесковец...» Пусть эти звуки не смущают тебя.

Не бойся. Уже и лесные куцо-влахи Загор стали узнавать и любить имена Фемистокла, Эсхила и Платона.

Села наши богаты и чисты; дома в них – дома архонтские; училища просторные, как в больших городах; колокольни у церкви высокие и крепкия, как башни. Колокола нам издавна привычны; они и встарь еще сзывали старшин загорских на совет, не только на молитву.

Турки не жили никогда в нашем краю, огражденном древними правами фирманов.

У нас они могли сказать по своему обычаю: «Здесь, о, Боже мой! не Турция! Здесь я слышу несносный звук колоколов на храме неверных!»

Видишь, как бело наше загорское село? Как груда чистейшего мела сияет оно на солнечных лучах посреди виноградников. А вокруг за садами дальняя пустыня безлесных высот. Тополы и дубы растут на дворах и шумят над домами.

На площади, у церкви, стоит большой платан, и под его широкою тенью беседуют загорские старцы, которым Бог сподобил возвратиться домой и скончать на покое трудовые дни.

Эллинской славной фустанеллы ты здесь, однако, не увидишь, друг мой, хотя ею и полон весь остальной Эпир. Сюда заносят люди все одежды, с которыми свыклись они на чужбине.

Ты увидишь здесь и полосатый халат турецкий, подпоясанный шалью, и короткия шальвары, голубые и красные, расшитые черным шнурком, и пестрый ситец под откидными рукавами, и модный сюртук европейский, и широкою шляпу, и русскую круглую фуражку из Кишинева и Одессы, и маленькую красную феску, и кривую саблю турецкого мундира.

Но кому бы ни служил загорец, чьим бы подданным он ни сделался для выгод своих, он прежде всего загорец, он эллин и патриот!

Дела загорские и дела Эллады дороже ему всего на свете; и все эти старики, все богатые люди, которые в различных одеждах собрались совещаться и беседовать под платан у церкви, еще живя без жен и детей своих на дальней чужбине, думали о родном селе и посылали туда трудовые деньги на народные школы, на украшение храмов загорских, на устройство удобных и безопасных спусков по уступам наших гор; на украшение веселых и мирных улиц архонтскими высокими жилищами.

Иностранец дивится, проезжая по незнакомым и диким горам, в которых ничего не слышно, кроме пения диких птиц и звона бубенчиков на шеях наших коз; где ничего не видно, кроме неба, скал, ручьев, струящихся в ущельях, и привычных тропинок, протоптанных по мягкому камню верными копытами мула или стадами овец...

Но он дивится еще более, когда, робко спускаясь верхом с горы по ступенькам скользкой мостовой, он видит внезапно у ног своих обширное село в зеленом уборе садов; видит крыши крестьян, крытые не красною черепицей, а белым сияющим камнем; обширное здание школы; церковь большую, широкие столбы её прохладной галлерей; слышит звон колоколов с высоких колоколен; видит движение жизни людской, и мирный труд, и отдых, и ум, и свободу.

Пред усталыми конями его отворяются широко ворота гостеприимного чистого жилища. Очаг пылает ему как бы радостно в угоду; широкие диваны ждут его на покой.

Он находит в доме книги, просвещенную беседу и некоторые обычаи Европы, без которых, конечно, ему было бы тяжело.

Таковы эфирские Загоры, мой добрый друг. Такова моя незабвенная родина!

Рад ли ты этому, эллин? Рад ли, скажи мне?

II.

Отец мой, сказал я тебе, женился не совсем так, как женятся почти все загорцы наши. К нему не приходили старушки сватать соседнюю девушку, не торговались о приданом с его отцом или матерью. Отец мой был сиротою с ранних лет и женился поздно.

Когда дед мой и бабушка еще были живы, им случилось прогостить несколько дней проездом у знакомых в Чепелове, самом большом из наших сел. Отцу моему тогда было семь лет, и он был с родителями своими. У хозяина дома в Чепелове только что родилась дочка. Зашла в это время в дом цыганка, гадала и предсказала, что паликар этот, то-есть отец мой, женится на новорожденной девушке. Родные и хозяйева стали шутить и смеяться над отцом, стали кликать его «жених». Мальчик стыдился, плакал сначала, а потом рассердился так, что схватил девочку из колыбели и выкинул ее из окна. К счастью, она зацепилась пеленками за куст, который рос под окном на земле, вниз не упала.

Ее достали из куста; но она висела головой вниз и успела так отечь кровью, что ее долго растирали и очень долго боялись за её здоровье.

Эта-та новорожденная и была моя мать.

Отца моего тогда наказали больно за это, и он рассказывал, что долго ненавидел девочку и думал часто про себя убить даже ее, когда вырастет большой.

Вырос он далеко, в своем селе, уехал на чужбину; воротился двадцати шести лет; вспомнил об Эленице этой. Спросил: «что ж, поправилась эта Эленица после моего комплимента?» «Так поправилась Эленица, сказали ему люди, что вышла, как древняя Елена, за которую считали старцы троянские приличным кровь проливать. Стала она истинно, по словам песен наших, *белокурая и черноокая; очи оливки, а брови снурочки; ресницы, как стрелы франкские, а волосы – сорок пять ариши!* Она вышла замуж за хорошего молодого человека, семьи не важной, и сам он ребенком овец пас; но его мать хорошая хозяйка, и он обучился в школе и теперь учителем школьным во Фракию уехал».

– Вот и солгала цыганка! – сказал отец и смеялся.

Однако цыганка не солгала. Еще прошло три года; опять отцу захотелось побывать на родине, и родные ему все писали, чтоб он непременно возвратился жениться.

Приехал он по новой дороге, через горы, которые он мало знал. Ехал он только с двумя товарищами; запоздали и сбились с дороги. Стало темнеть, погода была зимняя, дурная, стал падать снег. Стали и лошади падать.

И решились они заехать ночевать в село, которое в стороне совсем и не на пути их стояло. Спутники отца моего были люди попроще его и попривычнее ко всему; один был кузнец из наших загорских крещеных цыган, а другой был ханджи². Кузнец имел в этом селе другого кузнеца знакомого и взял с собой к нему в хижину ханджи, а отца моего пожалел, потому что ему дорогой сильно нездоровилось, и отыскал ему ночлег в доме одной старушки, которая жила в своем хорошеньком домике втроем, с невесткою молодой и слугою.

Отец обрадовался и обещал хорошо заплатить за ночлег.

Встретили его с огнем на лестнице и с почетом, и старушка, и слуга, и невестка вышла сама с лампадой. Хоть и поздний был час, а на ней сверху была новая *аба*³ без рукавов, вся сплошь расшитая красным шелковым шнурком, и платочек, голубой ли, красный ли, желтый ли, не помню я, только он был ей к лицу. И отец мой был рослый мужчина и молодец. Посмотрел он на невестку, и она хотела к руке его подойти; а он ей сказал: «Кирия моя добрая, не

² Содержатель *хана*, постоялого двора.

³ *Аба* – так зовут и толстое сукно местной работы, и самую одежду, из него шьютю.

присуждайте меня с тридцати лет моих прямо в седые и почтенные архонты. Не дам я вам моей руки целовать и не стою я этого!»

Хозяйку дома звали кира Евгёнка Стилова; она была старушка превеселая, предобрая... и сейчас же в простоте своей все рассказала отцу.

– Вдова она у меня, вдова! – закричала она. – Сына имела я, да на чужбине умер, а мы с ней его молитвами хорошо живем, и я все мое имение ей отдам и найду ей мужа хорошего, чтобы со мной вместе жила, чтобы кормила меня и чтобы смотрела за мной...

Постлала красивая вдова отцу моему мягкую постель на широком диване у большого очага; положила ему красную шелковую подушечку с тюлевой наволочкой; два одеяла шелковые, восточные, одно на другое, и углы им в головах у подушки загнула, чтобы только был ему один труд – лечь и заснуть. На очаг повесила на гвоздике лампадку; воды сама на ночь принесла. Кофе сама сидя пред ним у очага сварила и сапоги с него почти насильно сняла, чтоб ему покойнее было сесть с ногами на диван.

«Говорю я со старухой, рассказывал после отец, а сам все одним глазом на вдову взор косвенный бросаю. И что эта женщина ни сделает, все мне нравится! Кофе подаст и станет ждать, головку на бок, с подносом; кофе вкусен. Сапоги стала снимать, сердце мое от радости и стыда загорелось; и в очаге же дрова такие сухия большие поставила, и сухими сучьями так хорошо и скоро их распалила, что и я вовсе распалился! Слово скажет... и какое ж слово? Великое какое-нибудь? – ничтожное слово: «на здоровье кушайте», например, аман! аман! Пропал человек! и это слово человеку медом кажется!»

Ночью отец совсем заболел; у него такая сильная лихорадка сделалась, что он в этом доме две недели прожил и пролежал.

Старушка и невестка её доктора ему привели и смотрели за ним как мать и сестра. Он и стыдиться пред ними вовсе перестал. И все ему в этом доме еще больше прежнего начало нравиться, особенно когда после болезни ему весело стало.

Попросил отец каких-нибудь книг почитать. Старушка сходила к священнику и к учителю, к богатым соседям и принесла ему много книг.

Читал мой отец, лежал, гулял по дому, и все ему было приятно. Вдова сама попрежнему служила ему. Она даже сама ему вымыла два раза ноги и вытерла их расшитым полотенцем.

«Судьба была!» говорил отец. Он уже не мог оторваться от услужливой и красивой вдовы.

Раз поутру помолился он Богу и, увидав на столе Библию, с глубоким вздохом раскрыл ее, желая подкрепить свое решение каким-либо священным стихом.

Он до конца своей жизни считал это гадание свое истинным откровением. Три раза открывал он, крестясь, св. Писание, и вот что ему выходило из Евангелия, апостолов и притчей Соломона.

Первый раз: «Представляю вам Фиву, сестру нашу, диакониссу церкви Кенхрейской. Примите ее для Господа... ибо и она была помощницей многим и мне самому».

Потом: «Сия есть заповедь Моя, да любите друг друга, как Я возлюбил вас».

А в третий раз, открыв на удачу Ветхий Завет, отец встретил в притчах Соломона нечто еще более ясное: «Человек, который нашел достойную жену, нашел благо, и он имел милость Всевышнего».

Чего же лучше! После этого отец уже не колебался и женился на молодой вдове.

Однажды, чрез месяц после свадьбы, сидели они вместе у очага. Мать пряла шерсть, а отец курил наргиле и рассказывал ей о том, как и где настрадался он на чужбине, и привел между прочим ей одно мусульманское слово насчет благоразумия и терпения человеческого.

«Не будь никогда разгневан переверотом счастья, ибо терпение горько, но плоды его сочны и сладки. Не тревожься о трудном деле и не сокрушай о нем сердца, ибо источник жизни струится из мрака».

А мать моя на это и сказала ему:

– Да! ты на чужбине страдал много, а теперь вот со мной веселишься, а я еще бессмысленным ребенком была, когда меня убить хотели, и однако спас меня Бог.

И сказав это, передала отцу моему, как выкинул ее из окна один мальчик и как она пеленками зацепилась за куст.

Упал у отца тогда наргиле из рук от изумления, и сказал он только: «Предназначение Божие!»

И в самом деле благословил Господь Бог и старушку добрую, которая невестке все имение свое отдала, и отца с матерью, которые старушку покоили. Забот у них и горя было много в жизни, но раздора между ними не было никогда. А это, ты знаешь, самое главное. При домашнем согласии и несчастья все легче сносить.

Два года не мог отец мой расстаться с любимой женой, которая так умела ему угождать. Хотел было остаться торговать в Янине, но на Дунае тогда было слишком выгодно, и так как и я уже родился к тому времени, отец мой решил уехать, чтобы приобрести побольше для детей.

Разлука была очень тяжела; но и старушку было бы грешно оставить одну после стольких её благодеяний.

Отец уехал в Тульчу; но приезжал каждые два года на три или четыре месяца в Загоры.

Незадолго до восточной войны, однако, пользуясь тем, что родной брат кыры Стиловой возвратился с большими деньгами из Македонии и остался жить уже до конца жизни в родном селе, отец мой решил взять с собой на Дунай и мать мою и меня.

Брат кыры Стиловой был доктор практик, имел хорошие деньги и двух больших сыновей, которых он вскоре и женил на загорских девицах, так что старая сестра его не оставалась никогда без общества и без помощи по хозяйству.

Когда между Россией и Турцией возгорелась война и русские вступили в дунайские княжества, отец мой испугался и хотел нас с матерью отправить на родину в Эпир; но скоро раздумал. По всем слухам и по секретным письмам друзей он ожидал, что в Эпире вспыхнет восстание. И там и здесь грозили опасности и беспорядки. Но отец рассудил, что на Дунае будет безопасно.

На Дунае следовало ожидать настоящей правильной войны между войсками двух государств; в Эпире чего можно было ожидать?.. Грабежей, пожаров, измен, предательств, безурядицы. Волонтеров эллинских отец мой боялся столько же, сколько и албанских баши-бузуков, и ты согласишься, что он был прав.

Шайка Тодораки Гриваса оправдала его опасения; увы! ты это знаешь, паликары наши уважали собственность и жизнь людей никак не больше, чем мусульманские беи.

Еще надеялся отец и на то, что русские одним ударом сломят все преграды на нижнем Дунае; он думал, что борьба с турками для них будет почти игрою, и первые слухи, первые рассказы, казалось, оправдывали его. Известия из Азии были победоносные; имена князей Андроникова и Бебутова переходили у нас из уст в уста. Турки казались очень испуганными, старые христиане вспоминали о Дибиче и о внезапном вторжении его войска далеко за Балканы.

Эти надежды, воспоминания и слухи приводили в восторг моего отца, который до конца жизни боготворил Россию, и мы остались, ежедневно ожидая и прислушиваясь, не гремит ли уже барабан российский по нашим тихим улицам. Но в этом отец ошибся.

Тульчу взяли русские, но гораздо позднее и с большими потерями. Множество воинов русского десанта погибло в водах Дуная, переправляясь на лодках против самых выстрелов турецкой батареи...

Потом мой бедный отец должен был сознаться, что турки на Дунае защищались как следует, и до конца жизни дивился и не мог понять, отчего русские распоряжались так медленно и так неудачно под Ольшаницей, Читате и Силистрией... Он приписывал все неудачи их валашскому шпионству и предательству польских офицеров, которых было, по его мнению, слишком много в русских войсках.

Он никогда не мог допустить и согласиться, что и нынешние турки отличные воины, и всегда дивился, когда сами русские консулы или офицеры старались ему это доказать. «Что за капризный народ эти русские! – говорил он нередко. – У многих из них я замечал охоту, например, турок защищать и хвалить. От гордости большой что ли, или так просты на это?» спрашивал себя мой отец и всегда дивился этому.

III.

Семейство наше много перенесло, и больше от худых христиан, чем от турок, потому что худые христиане, всегда я скажу, гораздо злее и лукавее турок.

Первое дело, почему отец мой пострадал. Когда в 53 году переправились русские через Дунай, все у нас думали, что они уже и не уйдут, и все радовались, кроме некоторых липован и хохлов беглых из России, но и те разное думали, и между ними были люди, которые говорили: «наша кровь!» Отец мой тогда обрадован был крепко и русских всячески угощал и ласкал...

У нас в тульчинском доме русский капитан стоял, и при нем человек пять или шесть простых солдат.

Скажу я тебе про этих людей вот что: кур, водку, вино, виноград и всякий другой домашний запас и вещи, и деньги береги от них. Непременно украдут.

Но если ты подумаешь, что за это их у нас в Добрудже ненавидят, то ты ошибешься.

В 67-м году, когда одно время ожидали русских, весь край как будто оживился. Что говорили тогда все, и греки и болгары, и простяки-молдаване сельские в бараньих шапках?.. И даже, поверь мне, жида и татары крымские, которые у нас целый город Меджидие построили... Что говорили все?

– Аман! аман! придут скоро русские! Вот торговля будет! Вот барыш! Офицеру биллиард нужен, ром, шампанское, икра свежая. Платит и не торгуется! А если казак курицу украдет, так он тут же продаст ее офицеру и сам деньги не спрячет, а в наших же кофейнях истратит на вино или на музыку. Такой народ веселый и щедрый! Прибить человека он может легко, это правда, но никто за то же так утешить и так приласкать человека не может, как русский. Все у него – «брат» да «брат», и злобы в сердце не держит долго.

Так говорили мне в 67-м году, вспоминая то, что видели в 53-м.

Разскажу я тебе, как русский солдат однажды украл у одного соседа нашего поросенка во время занятия Тульчи. Он спрятал поросенка под шинель и идет по базару так важно, задумчиво, можно сказать, даже грозно и не спеша. А поросенок визжит под шинелью его на весь базар. Все люди глядят на солдата; солдат же ни на кого не смотрит.

Сосед наш был молдаван, но человек довольно смелый. Он догнал солдата и при всех говорит ему:

– Остановись, брат, ты украл у меня поросенка.

– Я? ты с ума сошел что ли? Какой это такой поросенок, скажи мне, любезный друг ты мой?..

Ужасно удивился солдат, и не улыбается, и не боится, и не сердится вовсе.

А поросенок еще громче прежнего визжит под его полой.

Сосед рассердился и говорит ему:

– Так нельзя делать!.. раскрой шинель, или я к полковнику твоему пойду.

Сейчас же раскрывает солдат шинель и видит поросенка.

Посмотрел с изумлением, перекрестился, плюнул и воскликнул:

– Посмотрите, проклятая тварь, куда забрался. Это от дьявола все! А ты возьми его, брат, если он твой.

И пошел молодец дальше, опять не улыбается и ни на кого не глядит. Усы вот какие в обе стороны стоят и бакенбарды огромные!

Весь базар до вечера смеялся этому, и сосед жаловаться не пошел... Жалко ему было пожаловаться на такого человека, особенно зная, что полковник был строгий немец и беспощадно наказывал этих бедных людей за подобные беспорядки.

Капитана, который жил в нашем доме, звали Иван Петрович Соболев. Он меня очень любил. Звал он меня «Цыганок», за то, что я смуглый, и делал мне много подарков. Он каждый

день, несмотря на холод, обливался холодной водой и приказывал солдатам и меня схватывать, раздевать и обливать насильно, для укрепления. Потом я и сам это полюбил.

Выйдет капитан на балкон, на улицу, сам разденется совсем и меня раздетого выведет. Женщины бегут; а он им кричит: «Чего вы не видали? Куда бежите? Скажите! какой стыд великий!»

И восклицает потом солдату:

– Катай Цыганочка с головы прямо!

Я и рад, и кричу; а капитан бедный, глядя на меня, от души веселится. Ужасно любил я его.

Когда австрийцы зашли русским в тыл и уходили русские от нас, капитан Соболев золотым крестиком благословил меня на память, и я всегда ношу его на шее с тех пор.

– Прощай, Цыганочек мой, прощай, голубчик, – сказал он мне и сел на лошадь.

Я стал плакать.

– Господь Бог с тобой, – сказал капитан; – не плачь, брат мой, увидимся еще. С Божьей помощью назад опять придем и освободим всех вас.

Он поцеловал меня и перекрестил, нагнувшись с коня, а я держался за стремя его и плакал.

И не увидались мы с ним больше! Да спасет Божия Матерь Своими молитвами его простую воинскую душу! Мы узнали потом, что его под Инкерманом убили эти отвратительные французы, которых и отец мой, и я всегда ненавидели.

После ухода русских из Добруджи, когда у нас опять стали везде султанские войска, отец мой едва было не лишился жизни.

Нашлись добрые люди, которые даже не из мести и не по злобе личной на отца, а лишь из желания угодить турецкому начальству и выиграть от него деньги, донесли на отца моего, что он русский шпион.

Сказать тебе, что он русским начальникам не передавал никогда, где турки и что они делают, этого я не скажу.

Конечно, было и это; но станешь ли ты его хулить за это? Или лучше было делать так, как валахи делали около Букурешта, когда они туркам русских продавали.

Призвали отца к паше. Отец знал, что доказательств никаких против него нет; помолился, поплакал с нами, матушка на остров *Тинос* серебряную большую лампаду обещала, и стали ждать его и молиться. Я был еще мал; стал бегать и кричать; а мать говорит: «Кричи! кричи, веселись – теперь отцу, может быть, голову ножом турки отрезали». И я утих...

Так две недели прошло; сидим мы однажды вечером; застучали в дверь. Испугались все, а это батюшка возвратился веселый. Освободили его турки, и спас его самый тот турок, который должен был убить его.

Донос был тот, будто отец мой дал чрез Дунай весть казакам (уже после отступления русских в Молдавию), что в Тульче войска турецкого мало. Тогда казаки ночью чрез реку переправились и кинулись в город вскачь... это и я помню... крик какой поднялся... Турок точно было немного, и они все рассыпались в испуге. Я их не виню в трусости за это. Очень это было неожиданно, и казаки слишком страшно кричали *ура!* Убить никого не убили; а только повеселились турецким испугом и в плен никого не успели взять, потому что сами замешкать боялись. Украли мимоходом кой-что, без разбора, христианский ли дом или турецкий; это они успели и ушли. Вот по этому самому делу в особенности и был на моего отца донос.

Отец стоял на одном слове, что он ничего не знает об этом деле, и спрашивал «где ж доказательства?» Показывал, что он во всю неделю пред этим в Бабадаге далеко от берега был и ни с кем из своих не видался. «Кого ж он послал русских известить?» Паша не хотел слушать и велел его отвести к палачу. Повели отца к небольшому домику в стороне того села, где паша тогда жил; подвели к двери, отворили эту дверь и втолкнули его туда... Отец сколько раз об

этом ни рассказывал, всегда у него губы тряслись и голос менялся. Закачает головой и скажет: «увы! увы! детки мои, как страшно! это совсем не то, что война, где у человека кровь кипит... а это дело холодное и ужасное... Посмотри на курицу, и та каким голосом страшным кричит, когда ее резать несут... С тех пор я и куриного крика не могу даже так спокойно слышать, поверьте мне, детки мои. И вот однако спас меня Бог!»

Остался отец в этой комнатке и видит – сидит в стороне у очага худой турок с длинными усами. Оружия по стенам много. Понял отец, что это и есть *джелат*⁴, который должен его убить.

Отец ему поклонился, и турок говорит ему: «здравствуй» и приглашает вежливо сесть около себя.

Отец сел. Начал турок спрашивать, откуда он и как его имя. И что отец скажет, он все ему: «Так, хорошо, очень хорошо!» И потом еще раз спросил у него, как его имя, чтоб он повторил. Отец сказал ему, и показалось отцу, что джелат как будто иначе взглянул на него.

– А есть у тебя братья? – спросил потом турок.

Отец сказал, что есть два брата.

– А где они?

– Один в Греции, а другой умер.

– А который умер, чем занимался, где жил?

Отец сказал ему и об этом.

– А в Софье не жил твой брат?

Вспомнил отец, что он долго жил и в Софье и *хан* там держал.

– А никогда он ничего тебе не рассказывал про этот хан или про каких-нибудь людей?

Не помнил отец; однако нарочно стал будто припоминать, чтобы хоть минутку еще на этом свете прожить. Измучился наконец, и слезы у него из глаз потекли, и сказал он турку:

– Не спрашивай у меня больше ничего; ага мой эффенди мой. Я в твоей воле и припомнить я больше ничего не могу; у меня одна память – о бедной жене моей и моих сиротах несчастных!

– А ты Расскажи мне, – говорит турок, – кто на тебя эту клевету выдумал?

Отец повторил ему то, что сказал паше.

– А ты мне скажи, чорбаджи, – говорит тогда турок, – рад ведь ты был, когда ваши московские сюда пришли и Тульчу забрали и Силистрию осадили. Ты мне, чорбаджи, правду говори только и меня ты не бойся.

– Что ж, я тебе скажу, – ответил ему отец, – вера у них с нами одна...

– Это ты хорошо говоришь, чорбаджи. И вижу я, что ты человек не лживый, а прямой и добрый. Все, что ты сказал, все правда. Сиди здесь, я скоро вернусь, а ты сиди и не бойся.

Вышел турок и запер отца снаружи. Долго ждал отец и молился. Наконец турок вернулся и смеется:

– Иди с Богом, куда хочешь. И лошадь твоя здесь. Да скачи скорей, чтобы тебя не вернули. И уезжай потом куда-нибудь подальше и от нас, и от русских.

Не верит отец и подумать не знает, что такое случилось. И сказал он аге этому:

– Ага мой, не могу я с этого места тронуться, пока не узнаю, за что ты меня так милуешь.

– А вот за что, – говорит ему турок. – За то, что весь ваш род люди хорошие, других милуете и вас надо миловать.

– Слушай, – говорит, – садись на коня. Я сам тебя до другого села провожу, никто тебя не тронет.

⁴ *Джелат* – значит *палачь*; но у турок настоящих, казенных палачей никогда не бывало – ремесло это грех и позор; но в крайности нанимаются временно какие-нибудь бедные люди для исполнения приговоров. Вероятно этот турок нанялся, потому что ему были очень нужны тогда деньги.

И рассказал отцу, что тот отцовский брат, дядя мой, который хан держал, его брата спас и кормил.

Ехали долго вместе, около часа, и ага ему историю брата рассказывал.

Дядя мой держал *хан* около Софьи; а брат этого турка был учеником *налбанта*⁵ в самой Софье. Он был молод и красив. У паши, который тогда начальствовал в Софье, была возлюбленная христианка; жила она в своем домике на предместье, не далеко от того хана, где молодой Джемали лошадей ковал. Любил Джемали наряжаться и щеголять на диких и злых жеребцах. Случалось часто, что он мимо соседки в пестрой одежде скакал: и не знал, что она всегда на него из-за решетки в окно глядела.

Потом нашла она случай познакомиться с ним, нанимала тележку в их хану; кисет ему вышила и велела одной старушке ему передать. Эта же старушка сказала ему:

– Джемали-ага, госпожа моя велела тебе сказать, что она тебе табаку хорошего хочет дать из окна вечером; она тебя очень жалеет и говорит: какой юнак, на *бейопуло*⁶ больше похож, чем на простого человека!

– Так узнали они близко друг друга и впали в грех, – говорил отцу тот турок. – Узнал и паша. Тогда было все проще в Турции, и погибнуть было легче, но легче и спастись. Схватили Джемали в саду у христианки молодой и привели в конак.

– Ты кто такой? – закричал грозно паша, – что по ночам в чужие дома заходишь; и через стены лазаешь? Кто ты такой, собака, скажи?

– Мы *иснафы*, паша, господин мой, – иснафы мы, самим вам это известно.

Паша покраснел и закричал:

– Пошел вон, осел!

В чем же тут секрет был, что паша смутился? Иснафами зовутся люди одного ремесла, одного цеха, и самое это слово употребляется иногда иначе, аллегорически.

Мы с тобой иснафы, то-есть товарищи, одного ремесла люди; кумовья, если хочешь...

А паша и сам по ночам у этой христианки бывал, и бедный Джемали и не ожидал, что он так остроумно и колко ответит. Двое, трое из старших чиновников-турок даже улыбнулись, не могли воздержаться.

Однако, хотя паша и выгнал Джемали, но все-таки велел потом, чтобы заптие его взяли и отвели в тюрьму. Джемали притворился вовсе покорным и слабым; двое заптие вели его и сначала держали, а потом один и вовсе оставил. Как увидал он это и расчел куда можно бежать, вырвал вдруг у одного пистолет, ранил другого и бросился через разоренную стенку старого кладбища, бежал, бежал; просидел потом до вечера в разрушенной бане одной, вспомнил о моем дяде и ушел ночью к нему в хан за город. Дядя мой прятал и кормил его две недели, а потом переправил через Дунай в Валахию, и оттуда Джемали вернулся опять в Турцию иным путем. Так как за ним никакого преступления важного не было, то он боялся лишь ревности и мести того паши, которого он оскорбил, а не других начальников. Когда Джемали увидался с братом своим, он рассказал ему все это и прибавил еще:

– Ты положи мне клятву, что где бы ты ни встретил родных загорского Дмитро Полироноса или его самого, ты послужишь и поможешь и ему, и всему роду его. Он мне теперь и до конца жизни моей все равно как *влам, побратим*⁷.

Вот как чудесно спасся отец мой. Он и говорил, что в его жизни два чуда было: встреча с матерью моей и с этим турком, Мыстик-агбю.

⁵ *Налбант* – коновал или вообще человек, который лошадьми занимается, кует их и т. п.

⁶ *Бейопуло* – дитя бея, молодой барин.

⁷ В западной Турции, в Албании, Эпире, других соседних странах существует, как известно, и у мусульман и у христиан старый обычай *побратимства*.

– А какое лицо у него было грозное, у Мыстик-аги, – говорил иногда, вздыхая глубоко, отец. – Худое лицо, печальное, без улыбки! Усы длинные и острые в обе стороны, туда и сюда стоят. Кто бы мог ожидать такой доброты?

Мать моя думала, напротив того, что отцу это так показалось от страха и что у Мыстик-аги было обыкновенное турецкое лицо.

Отец мой любил об этом событии рассказывать и, обращаясь ко мне, грозился мне рукой и говорил:

– Заклинаю я тебя, Одиссей, всем священным, если и меня на свете не будет и если когда-нибудь Мыстик-ага напишет тебе о чем-нибудь прося или в дом твой приедет, то вспомни об отце твоём и всякую просьбу его исполни. В доме же твоём почет ему окажи бóльший, чем бы ты самому великому визирю оказал. Служи ты ему сам, и если жена у тебя будет, то хотя бы дочь эллинского министра или первого фанариотского богача за себя взял, но я хочу, чтоб эта жена твоя туфли ему подавала, и чубук, и огонь, и постель ему сама бы руками своими, слышишь ты, в доме твоём постлала! Слышишь ты меня, мошенник ты Одиссей? Это я, отец твой, тебе, Одиссей, говорю! Прощаясь с Мыстик-агбю, я так и сказал ему:

– «Эффенди и благодетель мой, паша мой, дом мой – твой дом отныне! И жена и дети мои, и дети детей моих – твои покорные слуги!»

А он, бедный, ответил мне:

– «Все мы рабы Божии, чорбаджи!»

Сев на жеребца своего, приложил руку к феске и ускакал! И долго глядел я, как развевались красные кисти на злом жеребце его и за спиной его голубые рукава, и не мог я вовсе с места отойти, пока не потерял его из вида. Как бы незримая сила приковала меня там, где я издали на него любовался.

Когда отец мой это рассказывал, хотя бы и в двадцатый раз, трудно было не плакать.

Мать моя всегда плакала и, обращая глаза к небу, прикладывала руки к груди своей и прерывала рассказ восклицанием: «Боже! Пусть он живет долго и счастливо, человек этот, пусть спасет он свою душу, и хотя турок он, но пусть угодит Тебе, Боже наш, хотя так, как угодил самарянин добрый!»

IV.

Тотчас по заключении мира отец мой отправил нас с матерью на родину, в Эпир, а сам поехал в Афины и достал себе там без труда эллинский паспорт и таким образом право на защиту греческого посольства и греческих консулов во всей Турции.

К этому его побуждал не только тот страх, который пришлось испытать ему от тогдашнего турецкого беззакония и самоуправной грубости, но и другое тяжелое дело, которое причинило и ему, и мне позднее много неприятностей и хлопот.

Не только по поводу доноса на отца, но еще и по поводу этой тяжбы мне пришлось сказать тебе, мой друг, что худые христиане нередко по природе своей злее и лукавее турок.

От отца же моего покойного я слышал одну небольшую и очень хорошую молдаванскую сказку или басню, не знаю, как ее лучше назвать.

«Пошел один человек, поселянин небогатый, дрова в лес рубить и увидел, что большое дерево упало на землю и придавило большую змею. Змея была жива и стала просить человека, чтоб он освободил ее. Человек подставил под дерево подпорки и освободил змею. Она тотчас же обвилась вокруг него и сказала ему: «Я тебя съем!» «За что?» – спросил человек. «Все вы люди очень злы и злее вас зверя нет на свете; за это я тебя съем». Тогда человек ей сказал: «Ты так говоришь, а другие что скажут, пойдем судиться; до трех раз кого встретим, того и спросим». Змея согласилась, и они пошли. Сначала увидели они, что люди пашут. И люди эти когда увидели человека и около шеи и тела его такую большую змею, вместо того, чтобы помочь ему, испугались и убежали. Спросила змея у одной коровы, которая была в плуг впряжена: «Съесть мне этого человека?» «Ешь! – сказала корова. – Люди все злы, и злее их зверей нету. Я моему хозяину много телят, молока и масла дала; а он меня, корову, теперь в плуг с волами запряг». Пошли они дальше, увидели на сухом поле худую старую лошадь. Спросила у неё змея: «Скажи мне, лошадь, съесть мне этого человека?» И лошадь сказала: «Ешь! люди все злы, и злее их нет зверей на свете. Я служила хозяину двадцать лет, а теперь стара стала; он меня и бросил на этом сухом поле, где меня, может быть, и волки съедят». Пошли они дальше. Встретили лисицу. Ей дал знать человек знаками, что он ей трех кур даст, если она в его пользу рассудит. Лисица тогда сказала змее: «Чтобы рассудить, права ли ты, надо видеть, как он тебя спас и трудно ли ему это было. Отведи меня туда, где тебя придавило большое дерево». Когда они все пришли в лес и увидели, что дерево лежит еще на подпорках, лисица сказала змее: «полезай опять для примера под дерево, чтоб я могла видеть, как ты лежала, и рассудить вас». Змея подлезла, а лисица сказала человеку: «Вынь подпорку!» И змею опять придавило деревом, и она издохла. Тогда человек повел лисицу к своему селу и сказал ей: «Подожди здесь в поле, я вынесу тебе живых кур в мешке». А сам подумал: «У неё мех очень красив, годится жене на шубку. Пойду, вместо кур положу в мешок злую и быструю собаку, и она поймает мне лису». Пошел в село и вынес собаку в мешке. Лисица сидит далеко на камне, хвостом играет и не подходит. «Что это у тебя, друг мой, мешок очень велик?» «Из благодарности шесть кур несую вместо трех», – сказал человек и выпустил на нее собаку; но лисица была далеко и спаслась, громко воскликнув: «Хорошо сказали и змея, и корова, и лошадь, что вы люди злы и злее вас нет зверя на свете!»

Отец мой говорил об этой басне так:

– Я давно ее знал и хотел забыть ее, после того, как турок Мыстик-ага спас мне жизнь; но в то же почти время один грек наш и один болгарин научили меня ее вечно помнить.

Отец мой торговал на Дунае разными товарами и делал всякие обороты, но в то время он особенно занимался рыбной торговлей, скупал икру у русских липован и других рыбаков и продавал ее очень выгодно.

Он имел дела и большие счета с одним эфирским же греком, которого звали Хахамопуло. Человек он был и жадный, и легкомысленный, и боязливый, и обманщик. Он был гораздо моложе моего отца, и отец мой был ему почти благодетелем. Отец этого Хахамопуло умер внезапно в Валахии, и мальчик остался без всяких средств к жизни, без познаний и без ремесла. Однако он был хитер; пришел в Галац, увидел, что там продают козырьки для фуражек, и вздумал делать козырьки. Купил кожи, вырезал, сел верхом на скамью и стал какую-то гладкою костью лощить козырьки эти. Козырьки не годились.

Потом он уверил одного богатого валаха, что он отличный красильщик, учился в Одессе и может выкрасить ему карету заново гораздо дешевле, чем другие мастера. А вся цель его была, чтобы хоть неделю еще хлеб иметь и место для ночлега. Купил сажи, сам лак попробовал сварить, совсем не так, как было нужно; покрасил пальца на три густоты, не держится, все кусками падает. Пришел хозяин кареты, взял палку и прогнал его. Он сидел у ворот гостиницы и плакал, когда отец мой увидел его и спросил у него, кто он такой и отчего он плачет.

– Мне и тогда, – рассказывал мой отец, – не очень понравился этот мальчик. Слишком уж ломался и гримасничал. И туда кинется, и сюда перегнется... Эффендикó мой! Эффендикó! – кричит он мне и воет. – Ба! говорю я ему, – следует ли паликару как женщине плакать и выть. Пошлет Бог тебе хлеба. Не кричи, дурак, у меня уж и голова от воя твоего как целый казан раздулась. А все-таки жалко его было. Христианин молодой и наш эфирский грек.

Рекомендовал его отец мой одному из наших загорцев, который именем большим у молдаванского боярина управлял. Прожил Хахамопуло у загорца пять лет; во время войны и русским, и туркам, и австрийцам служил, деньги нажил, женился и переехал в Тульчу. Отец, видевши, что у него хорошие деньги есть и полагая, что он его благодетеля помнит, взял его в долю к себе, по рыбному промыслу, и они несколько времени торговали вместе. Еще до войны случилось отцу занять тысячу золотых турецких лир у одного знаменитого болгарина добруджанского, Петраки Стояновича. Этот Стоянович теперь уже не просто Петраки, а Петраки-бей и капуджи-баши султана; богат, как лидийский Крез, а низок так, что Хахамопуло сравнительно с ним честным человеком кажется. – Расскажу я тебе и про этого болгарского архонта, что он такое за сокровище драгоценное и откуда.

Отец его, Стоян, болгарский мужик из-под Костенджи, кажется. Я его видел. Простой землепашец болгарский, в бараньей шапке и толстых шароварах из коричневой абы.

Старик безвредный, лет ему 80, усы седые, сам худой и смуглый, пашет сам до сих пор, деньги в землю зарывает, турок боится, а больше никого знать не хочет; всю неделю черный хлеб с луком или перцем красным ест, а баранину жарит только по праздникам. У сыновей в Тульче редко бывает, а они к нему, кажется, никогда не ездят.

Сыновей у него двое, Петр и Марко. Оба теперь богачи и беи. Петраки, как я сказал тебе, капуджи-баши, а Марко – председатель нашего Тульчинского торгового суда, тиджарета, и бич человечества в нашем городе.

Пришли они оба на Дунай в сельских пугурах⁸ и колпаках, еще молодые, но где-то в греческой школе обученные недурно, и открыли небольшую лавочку в Тульче. Было это еще до Восточной войны.

Как они торговали? Так, как торгует всякий христианин бакал. Не без лжи и небольшого обмана.

Это бы ничего; все мы так делаем. Но Петраки и Марко не удовольствовались такими обыкновенными доходами, но сперва приобрели они от турок много денег доносами, так что их трепетал весь город, а потом разбогатели чрезвычайно во время сосредоточения турецких войск около Дуная различными подрядами и оборотами, поставкою сена, ячменя, рису для войска, а доносы шли своим чередом.

⁸ Деревенские шальвары.

По окончании войны у болгарских селян в Добрудже и под Силистрией скопилось множество расписок от начальников различных турецких отрядов. Часто нуждаясь в деньгах, начальство турецкое забирало в долг у селян фураж для кавалерии своей и всякую провизию для солдат. Как только узнал Петраки Стоянович, что у соотечественников его собралось такое множество долговых расписок, он стал хлопотать, чтоб общины сельских болгар выбрали его для поездки в Константинополь; достиг этого; поехал; но, явившись к великому визирю, не денег потребовал, а поверг к стопам султана все расписки его верных райя... «ибо все эти верные подданные поручили мне изъяснить блистательной Порте живейшую радость, что общий враг московский изгнан с позором из пределов наших!» Так сказал Петраки.

Винить ли мы будем турок за то, что они с радостью приняли этот дар и дали мужичку нашему болгарскому меджидие и мундир капуджи-баши с расшитою золотом грудью?

Тогда еще больше стал расти и богатеть Петраки, сын земледельца Стояна. Взглянул бы теперь на него! Широкий, румяный, здоровый *эффенди*; одет щегольски; красивый эффенди, борода черная с проседью небольшою, походка важная, речь серьезная, в Париж ездил, по-французски немного стал говорить; паши его боятся, все консулы визит первые ему делают, коляска у него венская, лошади – львы свирепые. «Желудок, – говорит он, – у меня теперь расстроен и печенью, к несчастью, страдаю; поэтому я не в силах посты содержать, как бы того требовали приличия для примера простому народу, ибо необразованным людям религия есть единственная узда для страстей. Сожалею крайне о таковом моем преждевременном расстройстве, но что делать! сам доктор Вельпо в Париже не советовал мне поститься. Прекрасный город Париж, и доктор Вельпо благороднейший человек. Европейец человек, вполне европейец!»

Поститься уже теперь не в силах Петраки-бей. Зато нет еврейки молодой и бедной, нет служанки, болгарки сельской, хохлушки или молдаванки, которую бы он не обольстил за деньги и не бросил бы после. Что могут слезы сироты против Петраки-бея, когда сами паши боятся иногда его интриг и тех взяток, которые он всегда в силах в Константинополе дать?

В 67-м году прошел слух, что Петраки-бей хотят князем независимой Болгарии сделать. Но и тут он успел оправдаться пред турками. У такого-то человека отец мой имел несчастье занять тысячу лир золотых!

Хахамопуло между тем захотел отделаться от отца моего, и стали они сводить счета. Отцу тогда было не под силу заплатить Петраки-бею, которого срок подошел, и он, полагаясь на Хахамопуло, перевел долг на него и удовольствовался тем, что Хахамопуло, который отцу был гораздо более этого должен, записал при нем тысячу лир для Петраки-бея в свою счетную книгу. «Заплати только ему эту тысячу лир, и остальные я прощаю тебе», – сказал ему отец. Расписки отец мой с Хахамопуло не взял. Как только объяснились между собой, тайком от отца, два злодея, болгарин и грек, так и обнаружилась их злоба, но что было делать?

– Дай мне сейчас пятьсот лир, – сказал парижанин-эффенди болгарский нашему эфирскому молодцу. – Я же тебе дам бумагу или счет особый, чтобы ты был покоен, как будто я эти пятьсот лир получил от тебя по иному торговому делу. Ты отрекайся от своего долга Полихрониадесу, ибо он от тебя не имеет расписки, а я с него свои тысячу лир судебным порядком требовать стану, ибо я от него расписку правильную имею и буду утверждать, что от тебя я не получал ничего и даже знать тебя, Хахамопуло, вовсе и не хочу. Должен же мне с большими процентами за просрочки Георгий Полихрониадес из Эпирских Загор.

Вот поэтому-то и поспешил достать себе эллинский паспорт отец мой вскоре после окончания Восточной войны. Он предпочел бы, конечно, взять русский паспорт, – тогда и это делалось легко, – но русского консульства в то время не было в Тульче, и как ни слаба Эллада, все-таки независимое государство, думал отец мой, и может его защитить.

Много перенес он тогда мучений, и паспорт греческий, если и был полезен, то разве для предохранения жизни, на случай большой опасности, а для тяжбы, я полагаю, он сделал нам больше вреда, чем пользы. Турецкое начальство признавать его никогда не хотело; несколько

раз хватали отца и сажали в тюрьму; не пускали его из тюрьмы в Загорье съездить и с нами видаться. Греческие консулы постоянно менялись; падет министр в Афинах, сейчас едет новый консул, и старому нередко он враг. Надо угождать новому. Сколько раз английский консул освобождал отца из тюрьмы.

Со стороны Петраки-бея, кроме мошенничества и алчности, была еще и личная злоба на отца моего – за одно слово, которое он действительно неосторожно, быть может, и необдуманно сказал в обществе.

Тогда только что начались разговоры о том, что болгарам следует отделиться от вселенской патриархии, иметь свои славянские школы и получить разрешение не только в северной Болгарии, но и во Фракии и в Македонии на своем церковно-славянском языке петь и читать в церквах.

Отец мой был человек умеренный и справедливый и всегда говорил, что болгары в подобных требованиях правы. «Отчего им не читать и не петь везде на своем родном языке? И Святой Дух сошел на апостолов в виде огненных языков именно для того, чтоб они проповедовали Евангелие всем народам на наречиях им понятных. Хорошо просят болгары!» – говорил мой отец.

Но отделения от вселенской церкви он не допускал ни под каким видом. И когда этот самый Петраки-бей однажды в доме австрийского консула выразился так:

– Этого мало, мы надеемся, что султан даст нам патриарха особого; ибо мы, болгары, ему всегда были верны и бунтовщиками подобно вам, грекам неразумным, не были и не будем!

Отец мой ответил ему, хотя и шутя, но очень обидно:

– Да! сказал он. – И до меня дошли подобные слухи с берегов Босфора. Говорят люди сведущие и высокопоставленные, будто бы садразам предложил вселенскому патриарху согласиться на учреждение особой болгарской патриархии, но что его святейшество изволил ответить так: «Ваша светлость согласится, конечно, что цыгане в Турции исповедуют одну веру мусульманскую с чистыми оттоманами, однакоже не видал еще никакой человек, чтобы шейх-уль-ислам из цыганского шалаша был взят!..»

Смеялись тогда много в австрийском консульстве по поводу этой остроты моего отца; но к алчности Петраки-бея с того дня примешались еще и национальная ненависть, и личная досада на весь наш род.

V.

Пока мой бедный отец хлопотал и мучился на Дунае, мы в Загорах жили хорошо и спокойно.

Эпирские песни родное село наше зовут «пустынное Франгадес»... Пусть так! Но я люблю его.

Церковь у нас обширна и красива; высокая колокольня подобна крепкой башне; а наш *платан совета* так велик, так широк и так прекрасен, что я в жизнь мою другого подобного ему дерева не видал.

Дом старушки нашей Евгёнки Стиловой был и не велик, и не мал, а средний. Была в нем зала большая, с колонками деревянными, а за колонками софа широкая вокруг; было довольно маленьких комнат и направо, и налево, и наверху, и внизу; и погреб был просторный, и виноградники у нас, и мулы, и овцы были свои.

Старушка наша, мать моя, я, служанка молодая и старый работник, только нас и было в доме, и мы жили все мирно и согласно. Кокона Евгёнка была трудолюбива и весела; мать моя кротка и заботлива; служанка бедная послушна, и старик Константин, работник наш, вот был какой человек: он сражался волонтером под Севастополем и возвратился в Турцию с крестом св. Георгия за храбрость.

Говорили люди и смеялись над ним, будто бы он с каким-то русским писарем по окончании войны вдвоем составили аттестаты и будто бы он крест св. Георгия просто на базаре купил...

Может быть оно и правда; только для нашего дома Константин был очень хорош, и мы его все любили.

Мать моя шила, пряла сама, мыла белье; вместе с молодой служанкой кушанье нам готовили. Бабушка Евгёнка с Константином в виноградниках сама работала, рыла и копала неумимо, пшеницу для дома сеяла... Целый день в трудах и всегда веселая. Не знала она ни жалоб унылых, ни лени. Мать моя имела склонность впадать иногда в глубокую грусть и ожидала тогда печальных известий и всего худого; начинала плакать, и одежду на груди собиралась себе разрывать, и на землю садилась, и восклицала: «Увы, мой бедный муж! Он умер... Съели его злые собаки, враги его на Дунае... Нет вестей от него! Нет вестей от несчастного! Ах я *черная*, злополучная такая!.. О, проклятый, верно, был час, в который я родилась на свет...»

А Евгёнка не унывала и тотчас же спешила утешить и развлечь ее... «Не проклинай, *морé* – Эленица моя, дня твоего рождения! Это грех. Все пройдет и все будет хорошо, дочь ты моя... Не бойся, я тебе, старуха, так говорю!» И сядет около неё на полу же, и начнет ей рассказывать: «Яковакина жена вот то-то сделала, а Йоргакина другое сделала. Кира-Мариго утром девочку родила здоровую, толстую, дай Бог ей жить! А кира-Кириакица тетку свою обижает, кричит на нее... «*бре*, ты такая, *бре!* ты сякая!» И развлечется мать моя немного, и слушает, и скажет потом: «Много у тебя бодрости, вижу я и дивлюсь тебе...» А старуха ей: «У тебя, дочь, сердце узкое, а у меня широкое сердце... Оно и лучше так... А что бы было, если б у обеих у нас с тобой узкия сердца были?»

Крепкая была женщина бабушка добрая наша, и ты бы, глядя на простоту речей её и на грубую старинную одежду, на её жесткие руки, не различил бы её от простой работницы деревенской и не догадался бы, что она имеет хороший дом в селе и сама госпожа. Древняя и почтенная была женщина!

Все ее уважали: но и смеху с ней было довольно...

Славилась она у нас междометиями различными. На все у неё был особый возглас, особое междометие. «Есть, кокона Евгёнка, вода у вас в колодезе?» – спрашивает человек. «А... а!» и глаза закроет. Значит: «ни капли!» – «Все работаете, кокона Евгёнка?» «Гр-гр! гр-гр!» Это

значит: «Все возимся, все работаем!» «Музыка играла на свадьбе...» – Аман, аман, что за хорошая музыка!.. *Дзиннь!* – Значит громкая, хорошая музыка. – «Лег отец отдыхать, бабушка?» – «А, а, а!» то-есть, «да, да, да!» и головой потрясет. Смешила она нас.

Когда стали появляться у нас в Эпире изредка фотографии, она ни за что не соглашалась снять с себя портрет, утверждая, что такой старой бабушке картинки с себя снимать и еще машинами и деньги за такой пустяк платить, как бы грех кажется, а уж стыд, без сомнения, великий!

Цветы она очень любила до самой смерти своей и разводить их любила около дома, и любоваться на них, и нюхать любила. Когда она стала все больше и больше стареть под конец своей жизни и уже работать перестала, а почти все сидела или лежала на диване, летом у окошка открытого, зимою у очага, ей домашние люди не забывали приносить иногда душистые цветы, и если цветок был не велик, она клала его себе в нос. – «Бабушка Евгёнок, зачем вы цветок в нос себе положили?» – «А затем, *морё*, человеке ты неразумный, затем, что руки у меня старые и работать устали всю жизнь мою! Держать рукой я цветок не хочу, а запах его хочу обонять... Понял ты теперь, человеке...»

И все уже знали, что она ответит так, но все хотели слышать её занимательные ответы.

Скажу тебе еще вот что. Кокона Евгёнок наша не только была трудолюбива, забавна и весела; она была и смелого нрава. Ты слышал, какой беспорядок царствовал в крае нашем во время Восточной войны?.. Я писал тебе уже о том, как боялся отец мой отправить нас с матерью тогда с Дуная в Эпир. Он очень тревожился и за старушку и не раз писал ей, чтоб она уехала из деревни в Янину и жила бы там, пока не кончится война и восстание. Но она всем говорила: «Кто старую такую, как я, обидит? А если и убьют... Так ведь Харон⁹ везде человека найдет! Сказано, что съезжает Харон с гор отуманенных и влачит с собою старых людей впереди, а сзади молодых, а деточек, нежных ребяточек, рядышком, рядышком на седле везет! Вот что!» С большим трудом уговорил ее брат её, доктор Стилов, чтоб она с ним вместе уехала на это время в город. В городе казалось безопаснее. По возвращении нашем с Дуная мы узнали, отчего ей так не хотелось покидать дом свой. И этому причиною главной была её любовь к отцу моему, и матери, и ко мне. У неё в темном углу конюшни было зарыто в землю золото – лир двести слишком. Собрала она их за многие года и зарыла сама. Место знал один только отец мой. Одною темною ночью приснилось ей, что на этом месте огонь горит, горит, горит и гаснет. Она испугалась, сошла туда и до рассвета со страхом великим трудилась и перенесла с молитвами деньги на иное место. И все ей казалось с тех пор, что все люди догадались и стобит ей только уехать, так сейчас и отроют деньги эти и после смерти её не найдет ничего отец мой и скажет: вот злая старуха обманула меня. Боялась она и брата своего Стилова, хотя он и добрый был человек. «Семьянин человек, думала она: свои дети есть; я же ему сестра, а Эленица (мать моя) чужая мне по роду, вдова сына моего сердечного!» Писать Евгёнок сама не умела; кому доверить тайну, чтоб отца моего известить и указать ему заочно новое место, где теперь деньги? Этим она мучилась долго. И решила она в Янину к брату ехать тогда только, когда во всей соседней Загорам *Куренде* села христианские загорелись. В Куренде порядок иной, чем в наших Загорах... Куренда место земледельческое, земля там менее гористая; а народ там беден, потому что собственности у него нет. Земля беям принадлежала, и ее крестьяне пахали. Во всем округе одно только и есть село богатое, свободное. Это село – прекрасная белая Зица, у подножья высокого холма, воспетого самим лордом Байроном.

Когда крестьяне бедных сел в Куренде восстали и убежали на высокие горы с женами и детьми своими, рассказывают у нас, будто бы богатые зициоты предали их и подали туркам мысль зажечь в долинах все дома, все жилища восставших людей.

⁹ Память о языческом Хароне сохранилась у христиан Эпира. Они часто употребляют слово *о Харос* (о Харос) вместо слова *смерть*. Есть много и песен деревенских о Хароне, или о смерти.

Ужаснулись люди и, спустившись с неприступных высот, поклонились туркам и получили помилование от них.

Вот только тогда, когда загорелись все эти бедные села несчастной нашей Куренды, Евгёнка решила ехать в Янину к брату.

Бог спас старушку! У Гриваса в охотниках была, конечно, вместе с добрыми патриотами и всякая сволочь, жадная, бесстрашная, свирепая. Эта сволочь не гнушалась грабить и христиан, когда в чем-нибудь нуждалась.

В той самой песне эфирской, в которой родное село наше названо *пустынное Франгадес*, поется о подобном грабеже и нападении на христианские дома.

„Ты пой, кукушечка, ты пой, как распевала прежде.“
– Я что спою? и что скажу? Какую речь держать я буду?
Вот какаранца¹⁰ на горах, на самых на верхушках,
Собрал все войско он свое и всех своих албанцев.
Ножи у них дамасские и ружья все готовы.
„Ребята, вы не бойтесь, ни капли не страшитесь!
„Железо вложим в грудь, как сталь пусть будут ноги:
„И айда грабить мы пустынное Франгадес!“
И Костарас¹¹ сказал тогда, так Костарас им молвил:
„Идите вы себе, а мне нельзя в Франгадес,
„Там у меня двенадцать братьев есть...
„Клялись мы на Евангелье...
„И крестник есть, еще дитя; его зовут Дмитраки.“
И собрались они, идут, поднялись все разом;
Середь села привал, и в колокол звонили;
Сзывали архонтов, всех архонтов собирали.
„Поклон вам, архонты!“ „Здоровье вам, ребята.“
„Откуда, молодцы? И путь куда ваш будет?“
„Начальник нас прислал на подвиг за свободу!“
Тут кир-Георгия они, Бинбука¹² тут схватили...
„На ваши на дома напасть прислал нас Федор Гривас!“
Да, истинно Промысл спас нашу старушку!

Другую хозяйку и соседку нашу беременную убили грабители, раздраженные подозрением, что она не хочет выдать им мужнины деньги! А она, несчастная жертва, и не знала, где деньги: муж не открывал ей своей тайны!

И в наш дом входили; взяли некоторые покинутые вещи и деньги искали в амбаре и в конюшне; но деньги Евгёнка решила с собой увезти, и что бы случилось с нею, если б она не уехала!..

Итак, родные мои жили заботливо и трудились, а я ходил в школу. Мальчик я был тогда, скажу тебе по совести, тихий и благочинный; принимал участие в играх охотно; но к буйству и отважным шалостям я не был расположен. На учење я не был ленив, и память у меня была хорошая.

¹⁰ *Какаранца* – капитан, начальник повстанцев или грабителей.

¹¹ *Костарас* – то же, что и какаранца.

¹² *Кир-Георгий Бинбука* – какой-нибудь сельский богач, ограбленный охотниками Гриваса.

По желанию отца меня рано взяли петь в церкви с певчими, и скоро я сделался любимым *анагностом*¹³ священника нашего отца Евлампия. Читал Апостола я искусно и громко; сразу, как только первый раз вышел, не сбивался ни в каком порядке, не забывал земные поклоны класть, когда нужно при чтении; знал годам к пятнадцати уже многое на память и особенно любил великим постом читать громко с выражением и чувством последнюю молитву повечерия, молитву ко Христу, Антиоха Пандекта... «И дай нам, о Бог наш, ум добрый, целомудренные мысли, трезвое сердце и легкий сон, свободный от всякой лживой фантазии!..»

Отец мой знал из писем о том, какой я *анагност* хороший вышел и как скоро. Он сердечно утешался этим и писал нам с Дуная: «А сына моего Одиссея благословляю и радуюсь тому, что он преуспевает в церковной диаконии и псалмопении. Похвальное и честное дело; ибо и в древней Византии дети и юноши, сыновья сенаторов императорских и иных великих архонтов, считали за честь и удовольствие быть чтецами в Божиих храмах!»

Так одобрял меня отец, и я этому радовался и еще громче, еще старательнее читал и пел.

Мирно, говорю я, текла наша семейная жизнь в горах, день тихо убегал за днем... праздники церковные и трудовые будни; веселые свадьбы изредка, училище, молитва; упорный труд у стариков, у нас игры; слезы новых разлук у соседей; возврат мужчин на родину, радость старых отцов и матерей; иногда печальный слух о чьей-нибудь кончине; ясные дни и ненастные; зной и дожди проливные; снега зимой грозные на неприступных высотах и цветочки милые, алые, желтые, белые, разные, загорские родные цветочки мои, весной по зеленой травочке нашей и в бабушкином скромном саду.

Я рос, мой друг, и ум мой и сердце мое незримо и неслышно зрели.

Яснее видел я все; пробуждались во мне иные чувства, более живые.

Я начинал уже думать о будущем своем. Я спрашивал уже себя, от времени до времени, какая ждет меня судьба на этом свете?

И что на *там*?.. Что *там*, за страшную, за безвозвратную ладью неумолимого Харона?

Я начинал все внимательнее и внимательнее слушать беседы и споры опытных и пожилых людей.

И здесь, в городах Эпира, как и на Дунае, великая тень державной России незримо осеняла меня. Прости мне! Ты хочешь правды, и вот я пишу тебе правду.

Эллада! Увы! Теперь Эллада и Россия стали для души нашей огонь и вода, мрак и свет, Ариман и Ормузд.

– Смотрите, – восклицает пламенный грек, – смотрите, православные люди, русские возбуждают болгар к непокорности и схизме. Вы слышали, эллины, об ужасном преступлении, совершившемся недавно в одном из соседних домов? Молодой сын, в порыве нечеловеческого гнева, поднял святотатственную руку на собственную мать свою. Не мать ли русскому православию наша вселенская церковь? Не она ли просветила древнюю Россию святым крещением? Не она ли исторгла русских из мрака идолослужения?.. И эта Россия, лучшая, любимая дочь нашей великой, гонимой матери, нашей святой восточной и вселенской церкви, она... страшусь вымолвить...

Да, мой добрый и молодой афинский друг! Слышу и я нередко теперь такие пламенные речи. Но не радостью наполняется мое сердце от подобных речей. Оно полно печали.

Кто прав и кто не прав, я не знаю: но, добрый друг, дорогая память детства имеет глубокие корни... И ум наш может ли быть вполне свободен от влияния сердца?

И тогда, когда я еще невинным мальчиком ходил с сумкой в нашу загорскую школу, уже замечалось то движение умов, которое теперь обратилось в ожесточение и бурю.

¹³ *Анагност* – чтец. На Востоке та часть церковной службы, которая у нас предоставлена *дячку*, обыкновенно исправляется юношами или детьми, нередко из богатых семейств.

Учитель наш, г. Несториди, суровый и сердитый, воспитался в Греции и не любил России. Священник наш отец Евлампий, веселый и снисходительный, иначе не называл России, как «святая и великая Россия». Брат нашей доброй бабушки, врач Стилов, одетый по-старинному в *дулама*¹⁴ и *джюбе*¹⁴, поддерживал отца Евлампия в долгих спорах, зимой по вечерам у нашего очага, летом у церкви, в тени платана, где к ним тогда присоединялись и другие люди.

– Благодаря кому мы дышим, движемся и есмы? – говорил отец Евлампий, обращаясь к Несториди. – Кем, – продолжал он, – украшены храмы Господни на дальнем Востоке? Не Адрианопольским ли миром утвердилась сама ваша Эллада, ныне столь свободная?.. Молчи, несчастный, молчи, Несториди!.. Я уже чтецом в церкви здешней был, когда тебя твоя мать только что родила... Ты помни это.

– Так что ж, – говорил ему на это Несториди. – Если ты тогда чтецом был, когда меня мать родила, так значит и панславизма опасаться не следует... Доброе дело, отец мой!

– Нет, Несториди, я этого тебе не говорю. Но у тебя много злобы в речах, – отвечал отец Евлампий и смущался надолго, и не находил более слов.

Он был умный и начитанный человек, но у него не было вовсе той ядовитости, которую легко источал Несториди в своих ответах. «*Чуллок диавола* самого этот человек!», так звал учителя нашего добрый священник, хотя они были дружны и взаимно уважали друг друга.

На помощь отцу Евлампию выходил, как я сказал, нередко наш старый загорский доктор, брат нашей бабушки Стиловой. Он был силен тем, что приводил тотчас же примеры и целые рассказы о былых временах.

– Позвольте мне, господин Несториди мой милый, – начал он убедительно и ласкательно (и, слушая его тихую речь, смягчался и становился иногда задумчив наш грозный спартанец), – позвольте и мне, простому и неученому старичку, вымолвить свое немудрое слово. Был я не дитя тогда, когда сподобил меня Божий промысл узреть этими своими глазами, которые вы видите, великое событие, а именно вступление войск российских в Адрианополь. Было мне уже двадцать слишком лет тогда, и я жил на чужбине во Фракии, и видел, и слышал там плач и скрежет зубов. Видел я своими вот этими глазами, как трепетал тогда грек, как не смели женщины выйти на улицу без *фередже* и покрывала, и если *фередже* на христианке было зеленого цвета, то разрывали на ней это зеленое фередже турецкия женщины в клочки и били ее, чтобы не смела она носить священного мусульманского цвета. Не осмеливались тогда женщины наши выходить и за город на прогулку. Видел я, как в двадцать первом году влекли на убой адрианопольских архонтов, милый мой господин Несториди! Слышал я вопли жен и детей их невинных; видел, как янычары повергли стариков за волосы ниц пред дверьми собственных их жилищ и отсекали головы христианские ятаганами.

И не было, скажу я вам, у христиан тогда ни друзей, ни заступников. Жили и торговали тогда в Адрианополе некоторые богатые франки (их много и теперь); но и они не любили и не жалели нас, и когда привлекаемые воплями христиан жены и дети этих франков бежали к окнам со страхом, отцы-франки успокаивали их, говоря с равнодушием: «Это ничего. Греков режут!» И жены их возвращались спокойно к своим домашним трудам, и дети франков предавались обычным играм, господин Несториди! Тогда-то блаженной памяти император Николай Всероссийский решился двинуть войска свои на султана (продолжал старик, одушевляясь и вставая). – Да успокоит Господь Бог в жилище присноблаженных его высокую и могучую душу!.. Тогда!.. Слушайте!.. Смотрите, Адрианополь стоит северною частью своей на высотах... За высотами этими широкая равнина, и течет извиваясь Тунджа, небольшая река... Смотрите, и теперь все так же. Вот здесь, направо, большие деревья Эски-Сарая. Две древние башни у реки, стена высокая, а за ней старый дворец султанов. А тут налево, подалее, большая казарма для солдат, давнишняя казарма, и за казармой этой поле и холмы. Никто не ждал

¹⁴ Старинная восточная одежда; разноцветная, широкая и длинная, наподобие рясы и подрясника.

русских в нашей стороне. Турки не спешили укреплять город, и войска в казармах было мало. Под Шумлой, все знали, стоял корпус турецкий в 60.000 человек; надо было одолеть его, чтоб идти дальше. Иначе судил Божий промысл. Не спешили турки; однако велел паша весь народ сгонять за город, чтобы копать окопы. Себе приказал поставить шатер поблизости и приезжал глядеть на работу. По его приказанию приезжал и митрополит благословлять христиан и возбуждать их усердие. Работали христиане усердно от страха... Вот, однажды, – друзья мои, слушайте... однажды утром рано, день был светлый, вышли мы к Эски-Сараю; вышел и я. Стоял около меня с лопатой один старик-христианин и смотрел долго вдаль. «Гляди!», – сказал он им. – Я взглянул налево... О, Боже мой! Черная пыль поднималась вдали за Тунджей. Больше все, больше. Смотрю, уже и сверкнуло там и сям что-то на солнце... Старик побледнел; задрожал и я... Хочу сказать слово ему, и руки дрожат, и ноги слабеют, и голоса нет у меня, несчастного! Старик положил лопату и сказал мне: «Пойдем к деспоту». «Деспот мой! – говорит он митрополиту, – клянусь тебе хлебом моим и душой моей матери, что пришли к нам русские...» Как огонь стал митрополит наш, спешит к шатру паша и говорит ему: «Паша, господин мой! Позволь мне потревожить тебя... Все мы в опасности нынче, райя султанские, от злых московов; что за войско, паша господин, идет сюда с северной стороны?» Вышел паша из шатра своего... Глядит... Что глядеть... Уже казаки с пиками едут, красуясь, по холмам и дороге... А пыль черная все гуще и ближе... И вот раздались крики, и безоружные солдаты турецкие в испуге стали выбегать из ворот и кидаться из окон казармы и спасаться в город. Один миг, – и вся толпа наша огромная побежала туда же. Паша сам скакал верхом, и слуги его, и офицеры в ужасе, не разбирая, попирали народ. Турки, христиане, евреи, старцы и дети, – все бежали в город вместе. И я бежал. Да, Несториди, страшно было тогда и туркам и нам... Нам отчего? ты спросишь. А оттого нам было страшно, что страх и трепет был нам привычен, как хлеб насущный, и не умели мы верить тогда, что есть на свете сила сильнее грозной и безжалостной силы наших тиранов. Вот отчего я и говорю: «Да помянет Господь Бог в жилище присноблаженных державную душу императора Николая!» Не видали вы, как видели мы, крови отцовской, не слышали вы воплей родительских, не знаете вы теперь, вы, которые смолоду жили в Афинах, настоящего страха турецкого, господин Несториди, и не пустила в гордые сердца ваши благодарность глубокие корни.

И сядился старик, отдыхал немного. И Несториди молчал, слушал доброго старика. И не мешал ему отдыхать.

Потом старик Стилов начинал опять свой рассказ, и по мере того, как изображал он торжество русских, светлело лицо его, и речь его становилась все веселее и теплее.

– И вот, эффенди мой, вступили русские войска. Внутри города и до сей поры целы бесполезные ныне и старые стены крепости; и теперь этот центр зовется «Кастро», и живут в нем христиане и евреи. Улицы там узки и дома высоки. По этим улицам, по двое в ряд, стояла кавалерия до самой митрополии. Уланы на рыжих конях. Архистратиг императорский, граф Дибич-Забалканский, хотя и был протестант (как с сокрушением сердца и с удивлением не малым узнали мы все позднее), однако присутствовал сам, во множестве царских крестов и всяких отличий, на торжественном богослужении в митрополии нашей и соизволил исполнить все приличия и обряды, свойственные православию: целовал он руку деспота нашего и прикладывался ко святым иконам. И это ему сделало у нас в народе великую честь. Дивились люди наши только его безобразию и неважному виду. Митрополит наш был вне себя от восторга, и когда мы к нему накануне пришли и сказал ему один из архонтов: «Добрый день, святой отче!» – «Что ты! – воскликнул епископ. – Что ты? Так ли ты знаменуешь великую зарю нашей свободы!.. Христос воскрес! скажи... Христос воскрес!» и со слезами поднял он руки к небу, повторяя: «Христос воскрес!» И мы все ему вторили: «Воистину, воистину воскрес, отче святой, хорошо ты сказал! Воистину Господь наш воскрес! И православию ныне праздник из праздников и торжество из торжеств!»

Долго стояли у нас русские. Христиане все ободрились. Женщины стали выходить смелее на улицу; люди наши начали ходить туда, куда и в помыслах прежде хаживать не осмеливались. Около предместья *Ени-Марет* не смели, бывало, проходить христиане; турки их крепко бивали за это. Почему? И сам я не знаю. Стали при Дибиче и туда дерзать. Иные грозили мезтью туркам. Глядеть глазами иначе начали, руками стали больше махать. Я и сам стал, по молодости моей тогдашней, ощущать иные чувства в сердце моем и проходил мимо турецких домов, по-моему неразумию детскому, с такою дерзновенною гордостью, как будто бы я сам перешел Балканские горы и завоевал всю Фракию у султана. А после, когда ушли благодетели наши, перестал и я тотчас же руками махать и сложил их почтительно под сердцем, и полы опять стал смиренно запахивать, и очи опустил поприличнее долбу... Да, недолго продолжался наш первый пир. Начал Дибич с того, что успокоил всячески испуганных турок, приставил стражу к мечетям, дабы никто из нас или из русских не смел тревожить турок в богослужении и в святыне их; повелел всем нам объявить, что всякое посягательство на мусульман, и мезть наша всякая, и обида им будет наказана строго. И, посетив митрополита, он в присутствии старшин так объявил ему: «Государь император мой не имеет намерения ни удержать за собой эти страны, ни освобождать их из-под власти султана. Цель наша была лишь дать понятие туркам о могуществе нашем, принудить их исполнять строже обещанное и облегчить вашу участь. Не враждуйте теперь с турками, не озлобляйте их против себя, вам с ними опять жить придется; старайтесь, чтоб у них добрая память осталась за время моего присутствия о вашей умеренности. Мы уйдем – это неизбежно, но будьте покойны! Отныне участь ваша будет облегчена». Так говорил архистратиг российский, и митрополит, и старшины слушали его в ужасе и грусти за будущее. Однако, Дибич правду сказал: «отныне участь ваша будет облегчена». Да, Несториди, с тех пор каждый турок фракийский понял, что есть на свете великая православная сила, и наше иго с тех пор стало все легче и легче.

Такие рассказы старика Стилова я слушал с восторгом. И зимой по длинным вечерам еще охотнее, чем летом в тени родимого платана.

В доме у нас есть зимняя комната с большим очагом. Это моя любимая комната, и я недавно велел обновить ее по-старому, так, как она была прежде. Она не очень велика; по обеим сторонам очага стоят низкие, широкия, очень широкия две софы во всю длину стены и покрыты они тою яркою пурпуровою шерстяною и прочною тканью, которую ткнут в Болгарии и Эпире для диванов нарочно. Стены этой комнаты простые белые и чистые, пречистые, как всегда в нашем доме они бывают; а против очага дулапы¹⁵ в стене, и решеточки, и полки по стене узенькие во всю комнату кругом, и окна, и двери, все окрашено зелеными полосами и трехугольниками, и еще такого цвета, какого бывают весенние маленькие цветки, в тени благоухающие, по-турецки «зюмбюль».

Вот в этой комнате была у нас как будто бы сама Россия! Лампада в углу теплилась пред золотыми и прекрасными русскими иконами; была одна из этих икон Божия Матерь Иверская, дивный, божественный лик! Новой живописи московской, но по древним образцам; лик, исполненный особой кротости и необычайно красивый; за золотым венцом её был укреплен другой венец из ярких роз самой восхитительной работы, какая-то особая пушистая зелень, как бархат нежная, и на цветах сияли капли искусственной росы. Теперь венок этот снят от ветхости, но мне было неприятно знать, что Божия Матерь наша без него, и я послал недавно отсюда новый венок такой же на её святое чело.

На белых стенах этой комнаты висели картины. Портрет государя Николая I и его ныне столь славно царствующего сына. Оба, ты знаешь, что за молодцы на вид и что за красавцы!

На картинках других ты видишь коронацию Александра II в Москве, его шествие с царицей в митрополию Кремля с державой и скипетром, видишь победу при Баш-Кадык-Ларе и

¹⁵ Шкапы в стенах; когда они хорошо расписаны или покрыты искусною резьбой, то они очень украшают комнату.

взятие турецкого лагеря еще при князе Паскевиче-Эриванском. Турки одеты тогда были иначе: в высоких и узких шапках убегает их кавалерия стремглав, напирая друг на друга сквозь теснину, а русские с обнаженными саблями мчатся на них. Посреди картины молодой казак хватает за грудь рукой самого пашу, у которого на красивом мужественном лице изображена прекрасно смесь испуга и решимости. Он думает еще защищаться, старый янычар не хочет отдаться легко; он спешит выхватить пистолет из-за пояса. Но... ты уже понимаешь, что это тщетно! Он пленник, и его отвезут на смиренное поклонение Царю в Петербург.

Не была забыта у нас и Эллада! О, не думай ты этого. В нашем доме увенчаны были цветами любви нашей обе дочери эти великой православной матери нашей, церкви восточной, и старая дочь, полная северной мощи, и юная наша Греция, которая любит себя в голубые волны южных морей и цветет, разнообразно красуясь на тысяче зеленых островов, над мирными и веселыми заливами, на крутизнах суровых и бесплодных вершин.

В нашем доме, в сердцах наших, не разделяясь враждебно, цвели тогда любовью нашей эти прекрасные обе ветви.

Победы блестящего князя Паскевича не затмевали подвигов нашего великого и простого моряка Канариса, и царь Николай взирал, казалось мне, с сожалением и благосклонностью, как на другой стене умирал у нас Марко Боцарис в арнаутской одежде, склонясь на руки своей верной дружины.

Вот в этой родительской и старой комнате, в ней самой и отец мой лежал больной когда-то и полюбил впервые мою мать. Зимой, темным вечером, когда ветер шумел в долине, или падал снег в горах, или лился скучный дождь, мы зажигали приветный и широкий очаг наш, и отцовские друзья приходили одни или с женами и вели у очага долгую беседу. Мать моя и старая Евгёнка пряли и вязали чулки и молча слушали мужчин.

Слушал и я старика Стилова с восторгом, и раннюю жизнь сердца, мой добрый афинский друг, поверь мне, не заменит ничто, и никакой силе лживого разума не вырвать с корнем того, что посеяно было рано на нежную душу отрока.

VI.

Я уверяю тебя, что и Эллада не могла быть забыта у нас.

Забыть Элладу! Возможно ли было забыть ее, когда на нас так грозно и умно глядел из-под густых бровей наш патриот Несториди?

Как я боялся сначала и как после любил и почитал этого человека!

И он с каждым годом, с каждым шагом моим на пути первых познаний становился все благосклоннее и благосклоннее ко мне, отдавая справедливость моим способностям и прилежанию.

Позднее еще, когда в Янине у меня открылся небольшой поэтический дар, Несториди первый ободрил меня и не раз тогда проводил он со мною целые часы в дружеской беседе, прочитывал мне отрывки из древних поэтов и объяснял мне все неисчерпаемое богатство нашего царственного языка, который пережил такое дивное разнообразие событий, подчинялся стольким чуждым влияниям и возносился всякий раз над всеми этими влияниями, овладевая вполне духом века и присвоивая его себе.

Несториди был наш загорец из небогатой семьи; отец его, почти столетний старец, и теперь еще живет, бродя кой-как с палочкой и греясь на солнце в дальнем селении Врадетто, которое стоит на неприступных каменных высотах, у берегов горного, холодного и безрыбного озера.

Несториди в детстве пас овец и часто спал, завернувшись в бурку, под открытым небом. Потом отец взял его домой и обучил немного грамоте. Проезжал тогда через Врадетто один богач загорец из Молдо-Валахии. Остановился отдохнуть и вышел под вечер прогуляться с друзьями. На небольшой полянке он увидел толпу играющих детей. Играли они в игру, которая зовется у нас *клицо-скуфица*¹⁶.

Дети становятся в круг; один снимает с себя бумажный или валеный колпачок или феску, и все на лету должны успеть ударить ее ногой так, чтоб она дальше и дальше летела.

Богатый загорец сел на траву и любовался. Он лет двадцать уже не был на родине и не мог вдоволь насытиться радостью, глядя на веселье и крики загорских детей.

Сын старика Нестора превосходил всех других мальчиков красотой, энергией и ловкостью. Смуглый, курчавый, румяный и стройный, в бедной куцо-влашской одежде, в синих шальварчиках, в белом валеном колпачке, этот мальчик прыгал как олень молодой, глаза его сияли; он ни разу не промахнулся, и быстрые движения его были так сильны, что иные товарищи его падали на землю, когда он и нечаянно отталкивал их.

– Какой паликар и что за бравый мошенник! – говорил про него купец.

Священник сказал, что он к науке способен.

Потом, когда проезжий спросил у детей, кому из них дать в подарок деньги для всех и кто из них разделит эти деньги честнее, дети все в один голос избрали маленького Несториди.

Тогда купец сказал: «Он и паликар, он и мошенник, он же и честный! Человеком будет!» И предложил отцу отвезти его в янинское училище и устроить его там на общественный счет.

Отец с радостью согласился, и Несториди уехал с своим благодетелем сперва в Янину, а потом в Афины.

Тотчас по приезде нашем с Дуная я подружился с маленькими дочерьми учителя и очень любил бывать в их скромном и чистом жилище. Оно и недалеко было от нашего дома.

Жена его, кира-Мария, была еще молодая, кроткая, смиренная, белокурая, «голубая», как говорят иногда у нас, но не слишком красивая. Он очень ее любил, но принимал с ней почти всегда суровый вид. Она знала, что он ее любит, и была покорна и почтительна. В семейном

¹⁶ Бросаю шапочку.

быту он был древний человек и не любил свободы. «Я деспот дома! В семье я хочу быть гордым аристократом!» восклицал он нередко и сам.

Жена стояла перед ним до тех пор, пока он не говорил ей: «Сядь, Мария!» Она ему служила, подавала сама гостям варенье и кофе; сама готовила кушанье, сама успевала дом и дворик подмести.

И дочерей своих, и нас, учеников, Несториди за шалости и лень бил крепко иногда и замечал при этом, что «палка из рая вышла. Но надо бить без гнева и обдуманно, ибо в гневе побои могут быть и несправедливы и ужасны».

Жена, впрочем, своими просьбами нередко умела смягчать его. У неё было много сладких и ласкательных слов.

– Учитель ты мой любезный! – говорила она ему, складывая пред ним руки. – Очи ты мои, золотой мой учитель, *кузум-даскала!* барашек ты мой! Отпусти ты это дитя домой не бивши. Я, твоя жена, прошу тебя об этом. Жалко мне, прежалко видеть эти детские слезы.

И он уступал ей.

Сам Несториди одевался хотя и бедно, но по-европейски и носил шляпу, а не феску, потому что был греческий подданный, а не турецкий. Но жене не позволял менять старинного платья, и она покрывалась всегда платочком и носила сверх платья толстую нашу загорскую *абу* без рукавов.

Кира-Мария, бедная, не родила ему ни одного сына. Несториди жаловался на это и был прав, потому что в Эпире без хорошего приданого очень трудно выдавать дочерей.

Мать моя однажды спросила у него:

– Здорова ли супруга ваша кира-Мария?

Несториди с досадой ответил:

– Чтó ей делается! Собирается новую девчонку родить!

– А может быть и сына? – сказала мать.

– Куда ей сына родить!

Был тут и доктор Стилов, старик, он ласково сказал Несториди:

– Это все оттого, что вы, господин Несториди, очень страстный *эрос* к молодой супруге питаете. Сила чувства на вашей стороне, оттого женский пол и родится. Это и наукой замечено нашей.

Несториди покраснел и сказал сердито:

– Если это истинною наукой открыто, – иной разговор, а если *вашею* наукой загорских врачей, которых университет тут недалеко в пещере воздвигнут, так уж позволь мне не верить этому открытию¹⁷.

Добрый старичок Стилов заметил ему на это недурно, что и пещера не вредит.

– В пещере любит пребывать сова, птица Афины, богини премудрой. Вот чтó, друже ты мой!

А мать моя тогда сказала учителю:

– За чтó вы, учитель, сердитесь? Разве стыдно *эрос* иметь к законной супруге? Она же у вас хоть и ростом маленькая, но весьма приятная кирия и всякому человеку понравиться может.

– Великая приятность! – возразил Несториди. – Нашли чтó хвалить! «Чтó стóбит рачок морской и много ли в нем навару?» Забыли вы эту пословицу греческую? Вот чтó такое жена моя.

¹⁷ Загоры, между прочим, славились прежде своими врачами-эмпириками. Они продолжают и теперь лечить в Турции. Есть между ними, конечно, и способные люди, полезные своим опытом. Над загорскими докторами смеются, утверждая, что они обучались в большой пещере, в *Загорском университете*.

Стыдился Несториди таких разговоров искренно, но досадовал он больше притворно, ибо жену свою он точно, что от всего сердца любил. *Нежностей* только не *вмещала душа* его никаких, так он и сам выражался.

Да! В семье он был патриархальный властелин и «муж, как надо быть мужу: будь нравственен, супруг; будь сам целомудрен и к жене справедлив, но строг; жена сосуд слабый». Но для государства он был демагог вне всякой меры и часто объяснял свои чувства так: «Не постигает мой ум и никогда не постигнет, почему кто-либо другой будет выше меня по правам. Ум и сила воли – вот моя аристократия, вот мой царь, вот власт и права! Других я не знаю!»

Несториди был очень учен для простого сельского учителя; знал превосходно древний эллинский язык, недурно итальянский, понимал немного и французский, но говорить на нем не мог.

Он издал не так давно в Афинах довольно большой труд, *Хронографию Этира*, где старался быть сжатым и ясным, как некоторые историки древности; собирал пословицы наши народные и записывал сельские песни. Прочитывая громко эти песни, он иногда бранил греков за то, что европейцы будто бы лучше их умеют ценить подобные произведения простонародного творчества, или, указывая тайком на отца Евлампия, прибавлял при нем с намерением: «Да! Немцы, например, потрудились много, а вот русские-то ничего этого, я думаю, и не знают! Замерзли там в лесах и болотах и ничего о греках не смыслят. Торгуют греки, хитрый народ... А поэзия наша?.. Не спрашивай!»

Отец Евлампий знал, что он для него это говорит нарочно, и отвечает бывало с упреком: «Неразумное я дитя тебе, что ты дразнить меня будешь?» Или с досадой: «Яд ты опять источаешь свой?» Либо еще: «Немцам дела лучшего нет, как твои разбойничьи песни собирать, а русским не до них. У них дело есть, как свое царство хранить, как Богу молиться, как мудрым правителям своим подчиняться!»

– Так, так, святой отче! – возражал учитель. – Я давно ожидаю, когда это вы, попы и монахи, совсем нас, греков, погубите.

Несториди умел очень искусно пробуждать в учениках своих патриотические чувства и пользовался всяким случаем, чтобы напомнить нам, что мы эллины!

Когда ученик его смотрел на карту и отыскивал скромные пределы нынешней Эллады, он любил спрашивать: «Да! А не помнишь ли ты, до каких пределов простиралась македонская власть, просвещенная эллинами, а потом Византия, просвещенная чистою верой Христа?»

Рука ребенка уходила далеко до гор Кавказа, к истокам Нила, к диким дакийским берегам.

Глаза других детей следили за рукой товарища, и приучалась постепенно вослед за взорами летать и мечтать.

Когда мы пред ним перечисляли народы, которые населяют Турецкую империю, он не забывал и тогда напомнит нам, *что такое греки*.

Он спрашивал у нас: «какой из всех народов Турции способнее и к воинским подвигам и к науке?» Мы спешили отвечать: «Христиане». И Несториди соглашался... «Да! Христиане... то-есть, ты хочешь сказать этим – греки. Греки, скажи, способнее всех».

Иначе стал говорить он нам, когда мы выросли большие.

Я помню, позднее, когда мы оба с ним, – я учеником, а Несториди наставником, – жили вместе в Янине, он обращался с такою речью:

– Несмотря на тяжкие условия, о коих распространяться здесь нет нужды, византийское просвещение продолжало, подобно живоносному источнику, струиться в тени и питать корни новых всходов. Болгары, молдаване, валахи, сербы, русские, обязаны всем духовным существованием своим одним лишь остаткам греческого просвещения, которое не могло стереть с лица земли никакое жесточайшее иго. Два раза цвел эллинский народ; он дал сперва миру бессмертные образцы философской мудрости, искусств и поэзии, и потом, оживленный духом учения

Христа, он благоустроил православную церковь, утвердил незыблемый догмат христианский и оставил в наследство человечеству новые образцы красноречия и возвышенных чувств в проповедях святых отцов и в гимнах богослужения, в этих греческих гимнах, воспеваемых с одним и тем же восторгом, с одною и тою же верой в снегах сибирских и в знойных пустынях Сирии и древнего Египта, в роскошных столицах, подобных Афинам, Москве, Вене, Александрии, и в самом бедном селе воинственной Черногории, в диких Балканских горах и в торговом Триесте! Помните, что весь мир, все человечество обязано грекам до скончания века почти всем, что у человечества есть лучшего: вечными образцами воинской доблести Леонидов и Фемистоклов, философской мудростью Сократов и Платонов, образцами прекрасного в созданиях Софокла и Фидия и, наконец, как я вам сказал уже, воздвижением твердых, незыблемых основ святой церкви православной нашей, одинаково приспособленной к понятиям и чувствам мудреца и простейшего землепашца, царя и нищего, младенца и старца. Вы меня слушаете теперь внимательно, – прибавлял он нередко, – но я знаю, что вы еще не в силах понять вполне то, что я вам говорю... Придет время, когда все это будет вам гораздо яснее... Вы поймете, когда будете старше, почему мы, эллины новейшего времени, вызванные в третий раз к новой жизни трудами Кораиса, мученической смертью патриарха Григория, кровавыми подвигами стольких героев Акарнании, островов и нашего прекрасного Эпира, почему мы в праве надеяться на будущее наше и на то, что мы третий раз дадим вселенной эпоху цвета и развития. Малочисленность племени нашего пусть не смущает вас. Рим, объявший постепенно весь мир, начался с небольшого разбойничьего гнезда на берегах Тибра, с городка, который, вероятно, был беднее и хуже нашего Франгадес; Россия имела, лет двести, триста тому назад, не более шести или семи миллионов жителей, по мнению некоторых германских статистиков, и вы видите, чем стала теперь эта Россия, – Россия, которой народ не мог сравниться с нашим по природным способностям своим, по гордой потребности свободы, по энергии и предприимчивости.

Так говорил нам Несториди, когда мы стали велики. Скажи мне, могли ли мы при нем забыть свободную Грецию? Теперь Несториди давно уже уехал из Эпира. Он ездил с тех пор два раза в Германию. Он стал приверженцем Турции; живет у берегов Босфора, и прежняя подозрительность его против славян обратилась постепенно в яростное ожесточение. «Схизму, схизму нам! – восклицает он, – чем дальше от славян, тем лучше. Не только потому, что этим отдалением мы приобретем доверие Германии и Англии и самих турок, которых необходимо отныне нам хранить на Босфоре, как зеницу ока, но еще и вот почему (тут он обыкновенно понижает голос и добавление это сообщает, конечно, не всякому)... вот почему... Православие, сознайся, устарело немного в формах своих, понимаешь? Дух эллина, друг мой, есть творческий дух... Отдаляясь от славян, мы быть может постепенно создадим иную, новую, неслыханную религию... И новая религия эта будет новою основой новому просвещению, новой эпохе эллинского процветания. Понял теперь ты меня или нет? Постепенно и неслышно, незримо и постепенно создаются великия вещи!» Он угощает теперь турецких чиновников и беев, изучает арабскую литературу и Коран и уверяет не только встречных ему и знакомых эфирских мусульман, которые, как ты знаешь, действительно одного племени с нами, но и всех анатолийских и румелийских турок, что они эллины.

– Выпьем вместе, мой бей, еще рюмку *раки*, – говорит он им теперь. – Подайте нам с беем еще раки. Слушай, мой бей, ты не говори вперед, что ты «турок», турок слово грубое и обидное даже. Не говори просто: «я мусульманин», ты говори: «я *юнан*¹⁸, я эллин, но не христианин эллин, а чтитель правоверного Ислама». Вот ты что. Где в вас осталась старая турецкая кровь? Со времени того, как вы к нам пришли, вы переродились; гаремы ваши были сначала полны гречанками, грузинками, черкешенками прекрасными. Таковы ли были ваши грубые предки, каковы вы теперь? У вас теперь благородные европейские лица, у вас теперь тонкий ум и поли-

¹⁸ Юнан по-турецки – эллины.

тическая мудрость. Это в вас течет кровь ваших матерей. Грузинки, черкешенки, ты скажешь, не гречанки. Но разве ты не знаешь, мой бей-эффенди, что Кавказ был наполнен колониями греков и римлян? Разве ты не знаешь, что западные черкесы европейской породы, не знаешь, что в древности наш грек Язон с паликарами ездил в Колхиду, то-есть, именно в эту Грузию, за золотым руном. Выпьем еще за султана и за твое здоровье, бей-эффенди, мой милый. Да, ты сын Ислама, я поклонник Христа, это все равно... Государству нет дела до веры; пусть мы оба будем *юнань* по роду и племени. Вам без наших торговых способностей и нам без вашей, ныне столь умеренной, но твердой власти, не устоять нам отдельно против общих врагов.

Турки хвалят его и смеются радостно, слушая его новые для них речи.

Верят ли они ему или нет?

По мере того, как я подрастал, я начал меньше бояться Несториди и больше стал любить и уважать его.

Я видел, что и он любит меня больше всех других учеников своих. Нельзя сказать, чтоб он хвалил меня в глаза или как бы то ни было ласкал меня. Нет, не для ласковости был рожден этот человек; он смотрел и на меня почти всегда, как зверь, но я уже привык к его приемам и знал, что он любит меня за мою понятливость.

Иногда, глядя на мою стыдливость и удивляясь моему тихому нраву, он говорил моей матери при мне, с презрением оглядывая меня с головы до ног:

– А ты что? Все еще спишь, несчастный?.. Проснись, любезный друг! Мужчина должен быть ужасен! Или ты в монахи собрался? Или ты девушка ни в чем неповинная?

А когда мать моя спрашивала его:

– Довольны ли вы, господин Несториди, нашим бедным Одиссеем? Хорошо ли идет дитя?

Несториди опять с презрением:

– Учится, несчастный, бьется, старается... Ум имеет, фантазии даже не лишен, но... что ж толку из всего этого... Учитель какой-то, больше ничего! В учителя годится...

– Все вы шутите, – скажет мать, – ведь вы же сами учитель... Разве худо быть учителем?

– Честен уж очень и от этого глуп, – с сожалением говорил Несториди. – Ты понимаешь ли, несчастный Одиссей, что мужчина должен быть деспотом, извергом ужасным... Надо быть больше мошенником, Одиссей, больше паликаром бы! А ты что? девица, девочка... И выйдет из тебя учитель честный, в роде меня... больше ничего. Разве не жалко?

– Когда бы мне Бог помог, даскал мой, – отвечал я ему тогда, – вполнину быть тем, что вы есть, я бы счел себя счастливым!

– Bravo, дитя мое! – восклицала мать. – Дай Бог тебе жить. Умно отвечаешь!

– Лесть! – возражал с презрением Несториди. – Ты хочешь мне этим доказать, что умеешь и ты быть мошенником?.. И то хорошо.

Но я видел, что он был утешен и рад. Под видом презрения и шуток Несториди долго скрывал свою мысль – действительно приготовить меня на свое место учителем в наше село Франгадес. Он надеялся скоро получить место при янинской гимназии. Его *Хронография Эпира, Сборник эпирских пословиц* и статьи *о Валашском племени в Эпире и Македонии*, где он доказывал, что это многочисленное, энергическое и даровитое племя полукочующих пастырей должно войти неизбежно в течение эллинских вод, – все эти труды его обратили на себя внимание ученых людей в Афинах и Константинополе, и оставаться ему вечно сельским учителем в Загорах было невозможно.

Ожидая своего отъезда из родного села, которое он всею душой любил, Несториди мечтал передать школу в добрые руки. Видел мой тихий и серьезный характер и думал, что и в 17–18 лет уже буду годен в наставники, что в помощь мне можно будет взять другого учителя и, наконец, что священник наш Евлампий будет иметь сверх того присмотр за школой.

Он часто говорил, что меня надо отправить в янинскую гимназию года на три. А потом, с Божьею помощью, возвратить меня в Загоры и дать мне дело, сообразное с моими наклонностями.

– Во всяком случае, – утверждал Несториди, – не следовало бы Одиссея слишком рано в торговые дела вмешивать. Торговля, конечно, душа и кровь народной жизни в наше время; но с одною торговлей не могут преуспевать и двигаться вперед национальные силы. Торговля и одна торговля неблагоприятна для развития высших умственных способностей.

Он продолжал попрежнему шутить надо мной:

– Совсем не мошенник этот юноша, – говорил он моей матери. – Что он за купец? Купец должен быть умный, хитрый, интриган, чтобы головы не терял, чтоб и совести не было... Вот этот купец! А он дурак у вас, очень добр и честен. Ему в учителя бы хорошо. Вот как я. Что ты открыл огромные глаза на меня и смотришь?.. Э, здравствуй, брат! Чего не видал? Видите, какой он у вас тяжелый и толстоголовый. Болгарская, а не эллинская голова, я вам скажу. Глядя на тебя, человеке мой, даже против воли панславистом станешь; скажешь: и правда, что в Загорах течет не эллинская наша кровь! Вот и горе нам чрез тебя...

Шутками и шутками, понемногу приучал он мать к той мысли, чтобы меня учителем оставить в Загорах, хотя бы не навсегда, а на несколько лет.

Матери эта мысль стала нравиться; она со слезами вспоминала о том, что ей придется со мной расстаться, и пример стольких других эпирских матерей, которые расстаются точно так же с сыновьями, мало утешал ее.

– Он у меня единородный, – говорила мать. – У других много детей.

Старушка Евгэнко спорила с ней; она была крепче ли сердцем, на горе ли позабывчивее – не знаю.

– Так написано загорцам, Эленкб, – говорила она матери. – Так им написано, черным и несчастным. У Бога так написано. У меня сын мой, первый твой муж, не был тоже единороден, глупая ты! Э, умер! Господи, спаси его душу. А Бог тебя мне послал, чтобы за мной смотрела.

– Велико утешенье! – отвечала моя мать. – Велико мое смотренье за тобой... Ты за мной смотришь, а не я за тобой. Мое смотренье – на диване сидеть да чулки вязать, а ты сама виноградники роешь. Такого для себя утешенья, какое я для тебя – под старость не желаю. Мы до сих пор все еще твой хлеб едим, а не ты наш...

И старуха бедная рада, смеется, так и умирает от смеха, руками по коленам себя ударяет. Какая-де эта Эленкб наша – шутница, забавница, дьявольского ума женщина! Все найдет, все как следует, всякую речь и всякое слово!

Впрочем бабушка наша веселая на все была согласна.

– Э! Одиссей, и так хорошо. Оставайся, дитяtko, с нами... Будешь учителем. Малым всем деточкам нашим станешь Божии вещи объяснять... Так сделал Бог, так сделал Бог... И женим потом мы тебя в этом ли селе или из Чепелова какую-нибудь «гвоздичку душистую», «лампадку раскрашенную и расписанную» посадим на мула с музыкою громкой... *дзининь! бум, бум!* барабан!.. привезем сюда, чтобы благоухала в доме и светила нам... Дуламá шелковую на свадьбу наденешь, шубу на лисьем меху, платочек с расшитыми концами за пояс персидский заткнешь. Феску назад... Ах! ты буря и погибель моя!

– Bravo, bravo! – говорил Несториди. – Так, так, это все хорошо! Гименей, дня на три торжество и веселье; а после иго, ярем вместе надо покорно и свято нести... *О сизигос* – значит супруг, несущий вместе *яrho*. *И сизигос* – значит супруга, *та*, которая несет вместе с ним *яrho*. Пашите вместе, друзья мои тяжкую пашню жизни земной... Увы!.. так оно, Одиссей, однако все же гораздо легче оставаться здесь, чем ехать далеко и претерпевать недостатки и неудачи по ханам холодным, странам далеким и нередко варварским... Ты же тих и кроток, как агнец, и хотя я и шучу, что ты глуп, ты, напротив того, очень способен, но не знаешь ты, мальчик ты мой, что такое чужбина!..

И когда начинал вдруг говорит этот суровый и жесткий человек так снисходительно, дружелюбно и мягко, не могу я тебе выразить, до чего услаждалось мое сердце и чего бы я не готов был для него сделать тогда.

Но мать моя справедливо отвечала ему: «Прежде всего посмотрим, что скажет мой муж. Он глава дома, и мы ожидаем теперь его возвращения. Не нашему уму, деревенских и неученых женщин, судить о таких делах!»

– Пусть будет так, – соглашался учитель.

Отца моего точно мы ждали каждый день... Два слишком года прошло уже с тех пор, как он привез меня с матерью в Загоры и возвратился на Дунай. Он писал нам, что на счастье его в Тульчу приехал недавно из Афин двоюродный брат моей матери, человек очень богатый и с влиянием. Он купил себе дом и открыл на Нижнем Дунае обширную торговлю хлебом, и думает завести большую паровую мельницу на берегу реки. Быть может, отец уприсит его стать поручителем по делу Петраки-бея и Хахамопула и тогда сейчас же приедет сам в Загоры. Он писал еще нам печальную вест о том, что глаза его очень слабеют.

VII.

Наконец дождались мы отца. Приехал он под вечер. Как мы были рады, что говорить! Он поцеловал руку у коконы-Евгёнка, а мы все, и мать, и я, и Константин-старик, у него целовали руку.

Матери от радости дурно сделалось. Она села на диван и держалась за грудь, повторяя со вздохами: «ах, сердце мое! ах, сердце мое!» Отец тоже вздыхал и улыбался и ей, и мне, и всем... и слов не находил. Такая была радость! Такой праздник! Боже! Кинулись мы потом все служить ему. Кто очаг затапливал, кто кофе варить у очага садился, кто рукомойник нес руки ему мыть, двое разом на одну ногу его бросались, чтобы сапоги ему снять. Сосед за соседом в комнату собрались, отец Евлампий, Стилов старик, жена его, дочери, сыновья, Несториди с женой, все село, кажется, сбежалось... Двое цыган пришли, и те сели на полу у дверей... И тем отец жал руки, и тех благодарил.

Все его любили, потому что он не искал никого обидеть и был очень справедливый человек.

Когда отец покушал и отдохнул, он рассказал нам подробно, что случилось. Незадолго до отъезда его из Тульчи греческий консул уехал на два месяца в отпуск в Элладу и передал управление своего консульства английскому консулу г. Вальтеру Гею. Вальтер Гей этот родом из Сирии (его мать была, кажется, православная из арабской семьи); человек он отчаянный и капризный, хоть и беден и семьей обременен большою, но всегда грубит всем и даже вовсе не в духе своего правительства пишет и действует. Ему велят турок хвалить, а он их порицает и критикует во всем. Ему велят быть осторожнее, а он, что ни шаг, то опрометчивость, ссора, дерзость... Маленький, желтый, сердитый. «Я сам варвар!» кричит он всегда. «Все мы, европейцы, хуже азиатцев варвары! Оттого у нас и законы хороши и строги на Западе, что изверга и разбойника хуже западного человека нет. Дай нам волю, дай нам волю только, и мы сейчас китайца за косу, негра повесим, пытки неслыханные выдумаем, турку дышать не дадим, к Пирею эскадру приведем из-за жида Пачифико. Варвары, изверги мы все, европейцы, и хуже всех англо-саксонское свирепое племя... Дома мы смирны от страха закона... А здесь посмотри на нас, кого мы только не бьем... За что? За то, что нас здесь не бьют». Однажды случилось, что австрийский драгоман, сидя у него, заметил ему на это: «Невозможно, однако, согласиться безусловно с этим». «Нет», говорит г. Вальтер Гей, «соглашайся безусловно!» «Не могу», говорит драгоман австрийский. «Ну так пошел вон из моего дома! Разве за тем я тебя приглашаю в дом мой, чтобы ты противоречил мне и беспокоил меня этим! Вон! Кавасы! выбросьте этого дурака за ворота!»

Австрийский консул писал, писал по этому делу множество нот и донесений самому Вальтеру Гею и в Вену; а лорду Бульверу, который сам капризен был, нравились, видно, капризы г. Гея, и ничего ему не сделали.

Вот как раз около того времени, как г. Вальтер Гей принял в свои руки греческое консульство, Петраки-бей поссорился с отцом за церковный вопрос и стал хлопотать в Порте, чтоб отца моего в тюрьму посадили. Пока сам паша был тут, дело не подвигалось, потому что паша был человек опытный и осторожный. Г. Вальтер Гей между тем дал моему отцу комнату у себя в консульстве и говорил ему:

– Здесь тебя никто не возьмет, берегись только на улицу днем выходить. Сам знаешь, что твой греческий паспорт неправильный и турки его знать не хотят. Да и правы турки, потому что министры ваши эллинские за двадцать франков взятки сатану самого гражданином признают. Хорошо королевство! Это все Каннинг наш беспутный и сумасшедший лорд Байрон, которого надобно было бы на цепь посадить, наделали! А я уж устал от ссор и больше ни с кем никогда вздорить не буду! И ты на меня и на помощь мою не надейся, издыхай здесь в комнате, как

знаешь сам, пока твой консул вернется. Там уж они с пашой хоть в клочки изорви друг друга, так мне уж все равно. Я стар и болен и умирать скоро надо мне; какое мне до вас всех дело!

Так говорил отцу г. Вальтер Гей, и отец около месяца не выходил из английского вице-консульства.

Наконец стал тосковать и начал выходить по вечерам.

– Берегись! – говорил ему Вальтер Гей; – не буду я заступаться.

Заметил Петраки-бей, что отец ходит к родным и друзьям иногда темным вечером. Поставили турки в угоду Петраки человек пять-шесть заптие из самых лихих арнаутов поблизости английского вице-консульства. Только что село солнце, вышел отец тихонько и идет около стенки. «Айда!» и схватили его арнауты и повлекли в конак. Однако отец успел закричать кавассу английскому:

«Осман! *море?* Осман! схватили меня!» Осман услышал, мигом к консулу. А Вальтер Гей в халате и туфлях... Ни шляпы не надо, ни сапог... в туфлях, в халате, с толстой палкой в руке; кавасс за ним едва поспекает. Уж они на площади, на базаре, при всем народе, одного заптие – раз! другого – два! у третьего ружье со штыком из рук вон. Те не знают, что делать! Как на консула руку поднять. «Консул!» одно слово. Опустили бедные турки голову, а Вальтер Гей взял отца под руку и кричит:

– А, варвары! годдем! варвары!.. Нет, врите, я хуже вас варвар! Я, варвар, я!.. – И увел отца домой. А на другой день пошел в конак, застал там только того чиновника, который вместо паши векилем¹⁹ был потому, что паша уехал в Галац по делу, и говорит ему:

– А, это ты, ты... посягаешь на чужих подданных... Вас просвещать хотят, а вы анархию варварскую сами заводите. Так вот я вам еще хуже анархии заведу...

– Pardon, мусье консулос, pardon! – говорит ему несчастный векиль: – Кофе, эффенди мой, чубук один, садитесь, садитесь, господин консул.

– Не сяду! не сяду! Сяду я дома и лорду Бульверу самому напишу сейчас, как ты, именно ты меня оскорбил и что я даже здесь больше служить не могу.

– Сядьте, успокойтесь, господин консул. Англия – великая держава.

– Нет, не великая, когда даже ты можешь ее оскорбить.

– Сядьте, умоляю вас. *Бре*²⁰, кофе! *бре*, чубук... Нет! Чего же вы желаете? все будет по-вашему.

– Сяду я, – говорит г. Вальтер Гей, – с тем, чтобы писарь сейчас написал *тескере* на проезд Полихрониадесу на родину.

– Как турецкому подданному, эффенди мой, извольте...

– Нет, – говорит Вальтер Гей.

– Аман! аман! Что же с моею головой будет, господин консул! Что с нею будет, если я пропишу на паспорте его эллинским подданным, когда мое государство его таковым не признает, и вы сами знаете, что он райя.

– Да, райя; а ты не пиши и не юнан тебааси, и не Османли тебааси, а просто эпирский уроженец и торговец города Тульчи.

– Извольте, извольте, но что скажут его противники? Что закричит Петраки-бей после этого? Эффенди мой, эти люди очень сильны у нас! очень сильны!

– Так это у вас девлет? Так это у вас держава, чтобы носильщика, хамала, Стояновича этого, чтобы болгарского мужика Петраки-бея, предателя и вора, трепетать!.. Прочь чубуки! Прочь кофе!

– Пишем, пишем, как вы говорите, эффенди мой! Дружба – великое дело!

– Великое! великое! – говорит Вальтер Гей.

¹⁹ *Векиль* – исправляющий должность временно.

²⁰ *Бре* – обыкновенно в Турции междометие; то же, что и *море*, но грубее.

И кончил он так дело и отправил отца на родину, а Петраки-бею от себя велел сказать, чтоб он ему на улице не встречался бы долго, долго, потому что он человек больной и легко раздражается.

Перед отъездом своим отец, однако, чтобы сердце его было в Загорах покойнее, упросил г. Диамантидису (того двоюродного брата моей матери, который из Афин приехал и в Тульче мельницу собирался строить) остаться за него поручителем перед турецким начальством по делу Стояновича. Не хотелось ему также при этом и турок оскорблять таким видом, что он их знать не хочет и не боится и всю надежду возлагает лишь на г. Вальтера Гея.

Векиль сам ему много жаловался на английского консула и спрашивал:

– Безумный он человек должно быть и очень грубый? Политики никакой не знает, кажется?

Отец смеясь сознавался нам, что он векилю польстил и о своем спасителе отозвался без особых похвал:

– Больной человек, – сказал он и благодарил векиля.

Затруднение процесса нашего состояло в том, что признать отец этого долга небывалого не мог. А тиджарет два раза уже возобновлял дело это и оба раза находил средства решать его в пользу Петраки-бея Стояновича. В Константинополе Стоянович тоже был силен, а греческое посольство слабо. Проценты между тем все росли и росли в счетах Петраки, и мы могли, наконец, если дело протянется еще долго и все-таки решится не в нашу пользу, потерять почти все наше состояние. Были минуты, в которые отец готов был уже и на соглашение; но двоюродный брат моей матери Диамантидис отговорил его. Прошли слухи, что в Тульче откроют скоро русское консульство. «Тогда, советовал ему дядя Диамантидис, постарайся перевести каким-либо изворотом весь этот процесс на имя кого-нибудь из русских подданных на Дунае или сам съезди в Кишинев и возьми себе там русский паспорт. Русские защитит сумеют. А Вальтер Гей хорош, когда бить надо, на тяжбы же, сам ты знаешь, как он безтолков и неспособен».

Послушался отец совета дяди и отложил мысль об уступке и соглашении.

История г. Вальтера Гея, разумеется, всех нас поразвеселила, мы ей весь вечер смеялись; но болезнь глаз отцовских и тяжба эта не только старших огорчали, они и меня страшили; особенно когда отец говорил: «Я прежде не хвалил наш загорский обычай рано жениться; а теперь завидую тем, которые женились почти детьми. Если б я женился не поздно, Одиссею было бы теперь не шестнадцать лет, а двадцать и более лет. И он мог бы уже помогать мне, мог бы на чужбину поехать, а я бы здесь отдохнул, наконец, во святой тишине и ел бы кривой-слепой старик свой домашний хлеб».

Очень страшно мне становилось думать о чужбине и о борьбе со злыми и хитрыми чужими людьми.

«Если отцу тяжело, думал я, что же я, бессмысленный и стыдливый, и неопытный, что ж я с ними, с этими хитрыми людьми сделать могу?.. Нет! лучше бы так, как Несториди учитель советует – дальше Янины мне не ездить и взять бы здесь за себя какую-нибудь красивую, добрую и богатую архонтскую дочку, *красную архонтопулу, лампадку расписанную*, из вилайета нашего, *яниотису* благородную, чтобы ходила она нежно, как куропатка ходит!»

Такие вещи, хоть и тих я был, а думал молча!.. И никто бы, я полагаю, и не догадался, как часто я начинал уже мечтать в то время о «гвоздичках» этих, о «лампадах» и о том, как ходит куропатка, красивая птица, и по каким местам.

VIII.

Отцу моему понравился совет Несториди отдать меня в Янинскую гимназию. Но о том, по какому пути меня после вести, по торговому или ученому, он сказал, что времени еще много впереди и что самые недуги, посетившие его, заставляют его колебаться.

– Хорошо бы единственного сына около себя в Загорах или по крайней мере в Янине удержать; хорошо и на чужбину вместо себя отправить для торговли, если болезнь глаз не пройдет.

Так как отец ни в каком деле спешить не любил и очень хвалил турок за их поговорку: «Тихонько, тихонько, – все будет!» (*Яваши, яваши, – эпси оладжаск!*), то может быть и год еще целый мы с ним не собрались бы, если бы не приехал к нам неожиданно в Загоры из Янины новый русский консул, г. Благов.

Затруднение отец находил в том, где меня поместить в городе. Собственный наш дом в Янине был отдан за хорошую цену внаймы английскому консулу, так что чрез это одно вся семья наша с избытком содержалась в Загорах, и отец целых два года на расходы не высылал нам ничего с Дуная и мог употреблять свободно деньги, которые приобретал торговлей, на новые выгодные дела. Он нашел даже возможность, не обременяя ни нас, ни себя, поправить и отделать прекрасно за это время маленький *пαραклис*²¹ во имя Божьей Матери «Широчайшей Небес»²², за селом нашим, в небольшой дубовой рощице, на холме. Параклис этот был давно уже разрушен, во времена старинных смут и набегов; и я еще с детства слышал, как часто отец, вздыхая, восклицал: «Когда бы сподобил меня Господь Бог возобновить этот маленький храм на мое иждивение!» Наконец он этого достиг.

Итак, что́ делать со мной родителям? Нанять мне одну комнату – не трудно. Но у кого? Где? Кто будет смотреть за мной? Мать моя, замечая, что я ростом становлюсь уже высок, начинала ужасно бояться, чтоб я не развратился. Кому в городе поручить меня?

Был у нас в Янине один дальний родственник моей матери, полу-яниот, полу-корфиот, полу-итальянец, полу-грек – доктор Коэвино. Он был холост и занимал один, как слышно было, большой и хороший дом.

Когда я еще был очень мал (до отъезда матери моей с отцом на Дунай), Коэвино жил несколько времени в Загорах, был дружен с отцом, был отцу моему многим обязан и даже должен был ему деньги. Живя во Франгадесе, он почти все вечера просиживал у моих родителей, беседуя иногда далеко за полночь, и считал наш дом почти своим домом.

Отец думал у него попросить для меня одну комнату. Но мать боялась доктора. Я его вовсе почти не помнил но слышал о нем отзывы как о безумном человеке.

Старик Константин говорил о нем, качая головой: «На цепь! на цепь его!» Бабушка Евгёнко осуждала его за безверие и за злой язык. – «Вот рот, так уж рот!» – говорила она, «вот язык, так уж язык!» А мать моя с отчаянием поднимала глаза к небу, восклицая: «Пресвятая Владычица, Заступница ты наша! Избави нас от такой нужды, чтобы ребенка невинного к безумному и иступленному человеку в дом отдавать!» И потом, обращаясь к отцу, упрашивала его так: «Кир Георгий! Муж мой хороший! Я тебе, я, жена твоя, говорю вот какую речь... что́ ты ждешь от человека, который хвалится, что мать его какого-то итальянца (прости мне это слово) любила? «Я, кричит, не янинской, не эфирской крови!» Коэвино к тому же, когда рассердится, может и убить мальчика... Избави нас Боже, избави нас!»

²¹ *Параклис* – придел или особый небольшой храм, в котором не бывает постоянного богослужения, а лишь от времени до времени. Таких церквей малых на Востоке вне сел довольно много.

²² *Платитера Урану* (Ширшая или широчайшая небес), Знамение Пресвятой Богородицы.

Отец улыбался и отвечал ей успокоительно: «Хорошо. Подумаем, подождем, посоветуемся. Козвино точно человек своеобразный и немножко безумный, хотя и очень добр. Подумаем, посоветуемся и подождем».

Так мы с месяц все думали, все советовались, все ждали. Пришел и конец октября.

Однажды, в день воскресный утром, отслушав обедню, пошли мы со стариком Константином нашим прогуляться за село. Взяли мы немножко сыра, вина и орехов, погуляли и сели за стенкой одной, на горке. Поели, запили вином, сперва песенки кой-какие пели, а потом Константин мне свои старые рассказы рассказывать стал.

Опять про Севастополь, про великую войну, про то, как целый год, день и ночь, день и ночь гревели пушки; какие русские терпеливые; какие казаки у них молодцы. О том еще, как он сам с моряками и казаками русскими вместе ночью воевать куда-то пошел и как оступался и падал с горы и за кусты держался; как боялся, что прямо к французам в руки попадет... И как он услышал около себя людей и притаился. Сердце бьется. А когда эти люди заговорили тихо: «Это не грек ли, Пендбс наш соленый?» как он обрадовался и сказал: «Пендбс! Пендбс!»

Я слушал.

И вот увидели мы оба с Константином, вдруг – по Янинской дороге, внизу в долине, со стороны села Джудилы, толпу всадников. Они тихо спускались с горы.

Скоро различили мы, что впереди ехали турецкие сувари, конные жандармы, четыре человека. Их можно было узнать по красным фескам и черным шальварам... За ними два человека в красной верхней одежде и белых фустанеллах. Потом ехал на рыжей лошади кто-то в белой чалме и в длинной одежде, как кади или молла, так мне издали казалось. А за ним еще люди, еще фустанеллы и вьючные мулы; пешие провожатые с боков прыгали по камням.

Константин думал, что это какой-нибудь консул. Я полагал, что турецкий судья или другое мусульманское духовное лицо, судя по одежде. Но старик наш настаивал, что это не турок, а непременно консул какой-нибудь, и советовал мне побежать домой и сказать отцу. – «Может быть и русский, и отец в дом его примет».

Пока мы так совещались, всадники приостановились в долине на минуту, сошли с лошадей, и потом один турок-сувари и с ним один молодец в фустанелле помчались во весь опор вперед по нашей дороге.

Тогда уже не было сомнения.

Константин узнал одного из кавассов русского консульства, Анастасия сулиота. У него и грудь и пояс блистали на солнце серебром и золотом, как огонь.

Видно было, что и консул сел опять. Немного погодя, поскакал и он, а за ним и вся толпа. Только вьючные мулы и пешие люди остались сзади.

Я побежал домой сказать отцу, но на пути уже меня обогнали кавасс и сувари. Я показал им дом отца, и они повернули к нам.

Как пожар у нас сделался в доме! Консула русского у нас в Загорах никогда не видали.

Растворились наши ворота широко со скрипом и со стуком; отец новый сюртук надел; мать пред зеркалом поправлялась; служанка по диванам в большой зале бегала без башмаков и утаптывала их, чтобы ровнее были; старушка Евгёнок новый фартук красный повязывала и кричала служанке, чтоб она в маленькую комнату дрова на очаг несла и чтобы шар-кейский ковер у очага постлала.

А уж по мостовой топот конский все ближе и ближе. У меня от радости сердце билось.

Вышли мы все за ворота и ждем. Отец тихо сказал тогда матери: – «Ты руку у него не целуй. Это теперь уже не делают, а только пожми ему, если он тебе свою подаст».

А я думал: «Какой же он человек этот нам покажется? Гордый и грозный? Старый должно быть; и какими орденами царскими он будет украшен?»

И вот бегут толпой вперед наши сельские дети; бегут тихо и молча; только лица у них изменились от изумления или страха. Въехали шагом на улицу нашу прежде всего два сувари-

турка, ружья по форме держали; а за ними еще сувари и другой кавасс; потом и сам консул на прекрасном рыжем жеребце; а за ним драгоман и еще один наш загорец его провожал. И слуги греки. Старик Константин уже успел феску на свою старую русскую фуражку обменять; руку у козырька держал и стоял как каменный у ворот. Отец мой сам стремя и узду консулу держал, когда он сходил с коня; а Евгёнка уже громко кричала ему и со смехом, по своему обычаю: «Добро пожаловать! Добро пожаловать к нам!» Служанка наша успела и руку у него поцеловать, когда он на лестницу входил.

Не старый был г. Благов, а очень молодой, веселый и... мне тогда показалось, – не гордый. Вовсе не таким я его ожидал видеть!

Орденами царскими он изукрашен не был, а только виден был у него красный бантик в петельке бархатного черного сюртучка. То, что я принял издали за чалму, была точно та белая сирийская ткань, расшитая золотистым шелком, которую употребляют некоторые важные мусульмане для головного убора. У консула этою чалмой обвита была соломенная шляпа, и сзади ниспадал длинный конец с прекрасными узорами для защиты шеи от солнца.

Сверх бархатного сюртучка на консуле была надета длинная одежда из небеленого, простого полотна с башлыком на спине; сапоги на нем были большие, даже выше колен; чрез плечо висела на красных шнурках с кистями кривая турецкая сабля, и стан у него был перетянут поверх дорогого бархата обыкновенным сельским болгарским кушаком.

Лицом г. Благов был красив, очень нежен и бледен; бороды не носил, а только маленькие усы; глаза у него были большие, и он ими на всех смело глядел. Ростом он был очень высок и ходил очень прямо.

Разсматривал я его внимательно, как чудо; все хотел я видеть, и все удивляло меня в нем.

Сюртучок показался мне очень короток для важного сановника, сапоги слишком длинны, панталоны слишком узки, сапоги в пыли, а перчатки хорошие. И я заметил еще, что от него чем-то душистым пахло, лучше розы самой!.. Бархат и болгарский кушак! Сирийская чалма и шляпа à la française; перчатки и духи прекрасные, а длинная одежда из простого полотна.

И что за почет этому молодому человеку! Капитан Анастасий сулиот, которому я почти-точно подавал варенье и наргиле, бросился с радостью снимать с него грязные сапоги, когда он захотел сесть на диван с ногами... Другой слуга уже бежал за туфлями; турки-жандармы, которых мы боялись и которым сама Евгёнка бабушка внизу прислуживала, угощая их всячески, эти турки трепетали его и просили нас сказать консулу об них доброе слово. Драгоман привставал, когда он начинал говорить с ним...

«Вот жизнь! Вот власть! – думал я. – Только одежда странная!.. Удивительно! Удивительно мне все это!»

В дальних комнатах мы шепотом совещались и делились друг с другом нашими впечатлениями. Старик Константин жалел, что консул очень молод. «Дитя! вчера из училища вышел».

Бабушка жаловалась так же, как и я, что панталоны слишком узки и что сюртучок короток и что на шляпе (как бы и грех это христианину?) *сарык*²³ арабский, как на турецком попе намотан..

И она так же, как и я говорила, ударяя рукой об руку: «Разве не удивительно это?» Но мать успокоила нас всех тем, что сказала: «Ничего нет удивительного, если между людьми высокого общества такая мода вышла теперь».

Впрочем бабушка Евгёнка, не стесняясь, и самому г. Благову сделала замечание:

– Огорчил ты нас, что так просто приехал к нам. Мы тебя во всех царских украшениях и в форме твоей желали бы встретить и поклониться тебе, а ты приехал смиренно и знать нам в Загорье заранее не дал, чтобы мы по заслугам твоим встретить тебя могли!

²³ Сарык – чалма.

А консул молодой засмеялся на это и отвечал ей по-гречески: недурно, но с какой-то странной особенностью в произношении.

– Форма наша, кира моя хорошая, уверяю тебя, некрасива... Я чту ее потому, что она царская; а сознаюсь тебе все-таки, что кавассы мои куда как больше на вельмож похожи, чем я. Орденов много я у государя заслужить еще не успел; только этот маленький... Не жалея же, кира моя, что я, как ты говоришь, так смиренно приехал. Право, так лучше.

А Евгёнку ему:

– Где же это ты языку нашему обучился так хорошо?

На это консул отвечал ей так:

– Кира моя! Я хоть и молод, а на Востоке давно уже. Говорить я люблю со всякими людьми. А с кем же нам и говорить здесь, как не с греками? И мы им нужны, и они нам. Молимся мы в одной церкви; одним и тем же молитвам и нас греков с детства матери наши учат. У меня же и отец военный был; был в походах, у турок в плену был долго.

И рассказал нам г. Благов еще, что в доме отца его много было картин, которые он в детстве очень любил и никогда их не забудет. На одной было изображено, как паша египетский хотел Миссолонги взять; на земле под ногами лошадей турецких лежала убитая молодая гречанка с растрепанными волосами. На другой – турок в чалме закалывал тоже прекрасную гречанку; на третьей – сын, почти дитя, защищал раненого отца-грека...

Когда г. Благов был еще мал, то, наглядевшись на эти картинки, часто просил мать свою вырезать ему из игорных карт гречанок, которые идут на войну за родину, и так как бубновый король на русских картах в чалме, то ему всегда больно доставалось от Бобелины и Елены Боцарис... Иногда матери г. Благова наскучала даже эта игра, и она говорила ему: «оставь этих глупых гречанок; сидели бы и шили дома лучше, чем сражаться, дуры такие!» Отнимала шутя у него карты эти и заставляла бубнового короля в чалме греческих дам прогонять и наказывать... «А я кричал и заступался...» сказал Благов.

Все мы и посмеялись этому рассказу, и тронуты им были сильно. Мать моя вздохнула глубоко и сказала: «Бог да хранит православную нашу Россию!»

Благов помолчал немного и потом прибавил, улыбаясь:

– Оно, сказать правду, не совсем оно так... Пожив здесь, на Востоке, видишь часто, что турки славные люди, простодушные и добрые; а христиане наши иногда такие, что Боже упаси! Но что́ делать.

– Вот вы нас как, ваше сиятельство! – сказал отец мой, смеясь.

Двое суток прогостил у нас г. Благов, и он был очень весел, и все мы были ему рады. Всем он старался понравиться. Служанке нашей денег много за услуги дал. Старику Константину подарил новую русскую фуражку и говорил с ним о Севастополе. «Ты и лицом на русского старого солдата похож. Я рад тебя видеть», – сказал он ему и велел еще купить ему тотчас же новые шаровары. Константин ему в ноги упал.

Старшины наши все ему представлялись; всем он нашел приветливое слово. У отца Евлампия руку почтительно поцеловал; внимательно слушал рассказы старика Стилова о временах султана Махмуда; по селу ходил; в церкви к образам прикладывался и на церковь лиру золотую дал; в школу ходил; у Несториди сам с визитом был и кофе у него пил; беседовал с ним о древних авторах и очень ему этим понравился.

– Древне-эллинская литература, – сказал г. Благов, – это, как магический жезл, сколько раз ни прикасалась она к новым нациям, сейчас же и мысль и поэзия били живым ключом.

Несториди после превозносил его ум. Зубами скрипел и говорил: «О! Кирилл и Мефодий! наделали вы хорошего дела нам, грекам!.. Вот ведь хоть бы этот негодный мальчишка, Благов, знает он, изверг, что́ говорит! Знает, мошенник!»

А поп Евлампий ему: – Видишь, как эллинизм твой в России чтут люди?

– Великий выигрыш! – сказал Несториди. – У тебя же добро возьмут, твоим же добром задушат тебя! Великое счастье!

Но самого г. Благова учитель все-таки очень хвалил и называл его: «паликаром, молодцом-юношей и благороднейшего, высокого воспитания человеком».

– Нет, умна Россия! – долго говорил он после этого свиданья с русским консулом.

Отцу моему г. Благов искал всячески доставить удовольствие и заплатить добром за его гостеприимство и расположение к русским.

Отец рассказал ему о своей тяжбе с Петраки-беем и Хахамопуло и жаловался, что придется, кажется, вовсе напрасно пойти на соглашение и уплатить часть небывалого долга; но г. Благов ободрил его и советовал взять в Одессе или Кишиневе русский паспорт. Он сказал, что, вероятно, в Тульче откроют скоро русское консульство, и тогда он возьмется рекомендовать особенно его дело своему будущему товарищу.

– Это дело будет в таком случае иметь и политический смысл, – сказал г. Благов, – полезно было бы наказать такого предателя, как этот Петраки-бей. Можно будет, я думаю, начать уголовное дело и принести жалобу на ваших противников в мехкеме²⁴. Хотя мы официально не признаем ни уголовного, ни гражданского суда²⁵ в Турции, чтобы не потворствовать суду христиан по Корану, однако, ловкий консул всегда может войти в соглашение с моллой или кади и через них выиграть дело.

Отца слова эти очень обрадовали. Потом отец мой упомянул, почти случайно, о том, что скоро хочет взять меня в Янину и затрудняется только тем, где меня оставить и кому поручить. Г. Благов тотчас же воскликнул:

– Пустое! У меня дом большой, и я один в нем живу. Я ему дам хорошую комнату, и пусть живет у меня, пусть и он привыкает к русским, чтобы любить их, как вы их любите. Через неделю путешествие мое кончится; я буду ждать вас с сыном и отсюда людям своим дам знать, чтобы приготовили для вас комнату.

Отец мой почти со слезами благодарил консула; а мать моя обрадовалась этой чести так, как будто бы меня самого в какой-либо русский высокий чин произвели. Отец, который сначала не совсем был тоже доволен молодостью консула и как бы легкомысленною свободой и веселостью его разговора, так после этого разговора с ним расположился к нему, что стал говорить: «Нет, ничего, что молод».

На другой день г. Благов и сам пригласил меня к себе в Янину и вообще обошелся со мной очень братски и ласково, хотя и огорчил меня некоторыми, вовсе неожиданными, замечаниями.

На первый день, когда отец представил меня ему, я ужасно смутился, ничего почти не мог отвечать на вопросы, которые он мне предлагал, и даже сел ошибкой от стыда вместо дивана на очаг. Г. Благов это заметил и сказал: «зачем же ты, г. Одиссей, сел так не хорошо?» Я еще более смутился; однако пересел на диван. Отец мой тоже за меня покраснел и говорит: «это от стыда мальчик сделал; вы ему простите».

Потом наедине со мною отец сказал мне: «не надо, Одиссей, таким диким быть. Добрый консул с тобою говорит благосклонно, а ты как камень. Уважай, но не бойся. Не хорошо. Он скажет, что ты необразован и глуп, сын мой. Держи ему ответ скромный и почтительный, но свободный».

Я вздохнул и подумал про себя: «правда! я глуп был. Другой раз иной путь изберу. Я ведь знаю столько хороших и возвышенных эллинских слов. Зачем же мне молчать и чего мне стыдиться?»

²⁴ *Мехкеме* – турецкое судилище по Корану; в нем до последних судебных реформ в Турции судил один молла или кади, без помощи каких бы то ни было гражданских членов.

²⁵ Недавно и Россия признала новые суды в Турции для русских подданных.

После разговора с моим отцом г. Благов, как только встретил меня, так сейчас же взял меня дружески за плечо и говорит: «буду ждать тебя, Одиссей, к себе в Янину. Повеселим мы тебя. Только ты меня не бойся и на очаг больше не садись».

А я между тем собрал все мои силы и отвечал ему так:

– Сиятельнейший г. консул! Я не боюсь вас, но люблю и почитаю, как человека, старшего по летам, высокого по званию и прекраснейшей, добродетельной души.

– Ба! – говорит г. Благов, – вот ты какой Демосфен! А душу мою почему ты знаешь?

Я же, все свой новый путь не теряя, восклицаю ему:

– Душа человека, г. консул, начертана неизгладимыми чертами на его челе!

– Слышите? – говорит он. – Вот ты какие, брат, плохие комплименты знаешь! Другой раз, если будешь так мошенничать, я тебе и верить не буду. Ты будь со мною проще. Я не люблю вашего греческого риторства. К чему эта возвышенность? Бабка твоя кирия Евгёнок гораздо лучше говорит. Учись у неё.

Я замолчал, а г. Благов спросил:

– Рад ли ты, что у меня в доме будешь жить?

Я отвечаю ему на это от всего сердца, что «готов последовать за ним на отдаленнейший край света!»

А он опять:

– Ты все свое, терпеть не могу красноречия!

И ушел он от меня с этими словами.

Я остался один в смущении и размышлял долго о том, как трудно вести дела с людьми высокого воспитания.

Уезжая, консул секретно просил отца собрать ему как можно более сведений о стране, о населении, церквах, монастырях, училищах, произведениях края; о правах христиан, о том, чем они довольны и на что жалуются; просил изложить все это кратко, но как можно яснее и точнее, с цифрами, на бумаге, и прибавил: «как можно правдивее, прошу вас, – без гипербол и клеветы...»

Он еще раз повторил, садясь на лошадь, что его янинский дом – наш дом отныне и что он сам через неделю вернется в город.

Мы все, отец мой, я, поп Евлампий и другие священники, некоторые старшины и жители, и все слуги наши, проводили его пешком далеко за село и долго еще смотрели, как он со всем караваном своим подымался на гору.

– Пусть живет, молодец, пусть благословит его Господь Бог, – сказал с чувством отец Евлампий. – Оживил он нас. Теперь иначе дела эфиротов пойдут.

– Дай Бог ему жизни долгой и всего хорошего, – повторили и мы все. Отец же мой сказал, провожая глазами толпу его всадников:

– Вот это царский сановник; и взглянуть приятно: и собой красив, и щедр, и на коне молодец, и весел, и вещи у него все благородные такие, и ковры на вьюках хорошие, и людей при нем многое множество. Душа веселится. Таковы должны быть царские люди. А не то, что вот мой бедный мистер Вальтер Гей. Желтый, больной, детей много, жилище небогатое, тесное! А такой адамант блестящий и юный; и православный к тому же – душу он мою, друзья, веселит!..

– Правда! – сказали все согласно, и попы наши, и старшины, и слуги. По возвращении домой было решено, что мы скоро поедем в Янину.

II. Наш приезд в Янину

I.

Тотчас по отъезде консула мы с отцом начали готовить для него те заметки, о которых он просил. Отец пригласил к себе на помощь одного только отца Евлампия и никому больше довериться не хотел – он боялся не только возбудить турецкую подозрительность, но и зависть греческого консульства в Эпире.

И он, и отец Евлампий от меня не скрывались. Они совещались при мне, припоминали, считали, а я записывал. Оба они повторили мне несколько раз: «смотри, Одиссей, чтобы Несториди не догадался, берегись! В досаде за нашу чрезвычайную близость с русскими он может довести все это до эллинского консульства».

Отец старательно изложил все, что касалось до древних прав Загорского края; объяснил, в каком подчинении Загоры находились к янинским пашам; почему в нашей стороне все села свободные, а не зависимые от беев турецких и от других собственников, как в иных округах Эпира; почему турки тут никогда не жили, и как даже стражу загорцы нанимали сами христианскую из сулийских молодцов. Обо всем этом вспомнили отец и поп Евлампий. Даже цыган наших загорских крещеных не забыли и об них сказали, что они занимаются у нас кузнечеством и другими простыми ремеслами, что мы их держим несколько далеко от себя и в почтении, и даже место, где их хоронят за церковью, отделено от нашего греческого кладбища рядом камней. «Однако, прибавил отец, они имеют одно дарование, которым нас превосходят, – божественный дар музыки».

– На что́ это ему? – сказал священник.

– Он все хочет знать, – отвечал отец. И я записал и эти слова о музыке.

Счесть села, церкви и маленькие скиты, в которых живут по одному, по два монаха, упомянуть о большой пещере, о посещениях грозного Али-паши, все это было нетрудно.

Но было очень трудно перечислить хотя приблизительно имена загорцев-благотелей и указать именно, кто что́ сделал и около какого села или в каком селе. Кто сделал каменный, мощный спуск с крутизны для спасения от зимней грязи и топи; кто мост, кто и где стену церковную починил, кто школу воздвиг, кто храм украсил. Не хотелось отцу забывать и людей менее богатых, менее именитых, ему хотелось правды; а у всякого встречного открыто справки наводить сейчас по отъезде консула он не хотел.

В Янину пора было спешить: и вот мы все трое тайно трудились с утра раннего; бросали тетради и опять брались за них. Отец повторял: «Трудись, трудись, сынок мой, трудись, мой мальчик хороший, для православия и для доброго консула нашего. Может быть скоро будешь хлеб его есть».

И я с охотой писал, поправляя и опять переписывал.

О турецких злоупотреблениях написали довольно много, но не слишком преувеличивая. Отец Евлампий в одном месте продиктовал было: «Так изнывают несчастные греки под варварским игом агарян нечестивых!» Но отец велел это вычеркнуть и сказал: «Не хочет г. Благов таких украшений, он хочет вот чего: в таком-то году, в декабре месяце, турок Мехмед убил того-то в таком-то селе, а турок Ахмет отнял барана у такого-то и тогда-то!» О таких случаях и вообще о том, чем христиане недовольны, написали мы довольно много; но отец находил, что эту часть он в Янине дополнить может лучше, потому что в самых Загорах турок нет, ни народа, ни начальства, и случаев подобных, конечно, меньше. Янинские же турки славятся своим фанатизмом, и город со всех сторон окружен не свободными селами, а *чифтликами*, в которых и беи, и полиция, и сборщики царской десятины легче могут угнетать народ и обна-

руживать, так сказать, удобнее недостатки, которыми страдает управление обширной империи. Даже насчет судов относительно Загор говорить было труднее, ибо в то время, когда мы с отцом занимались этими записками, у нас не было еще ни мундира, ни кади; мы судились между собою в совете старшин по всем селам и только в случае обиды обращались в Янину к митрополиту или к самому паше, чрез посредство особого выборного загорского *ходжабаши*, который для этого и жил всегда в городе.

Наконец отец сказал: «Довольно!» Переправили мы еще раз, спрятали тетрадки старательно и стали собираться в путь. Консул сказал, что через неделю возвратится в Янину другою дорогой, а мы прожили дома, трудясь над его статистикой, уже более двух недель.

Итак пора! Уложились, простились с матерью, с бабушкой, с соседями и поехали.

Я был немножко взволнован и думал: «Какая, посмотрим, будет там судьба моя? хорошая или худая?»

Выехали мы рано и около полудня уже были у города.

Путешествие наше было нескудное.

Неприятно было только в это время года переезжать через ту высокую и безлесную гору, которая отделяет наш загорский край от янинской длинной долины; ветер на высотах дул такой сильный и холодный, что мы завернулись в бурки и фески наши обвязали платками, чтоб их не унесло. Пред тем, как спускаться вниз, отец сошел с мула, чтобы было безопаснее и легче; я сделал то же и захотел последний раз взглянуть назад... Франгадеса нашего уже не было видно, и только направо, в селе Джудиле, на полгоре, в каком-то доме одно окно как звезда играло и горело от солнца.

Жалко мне стало родины; я завернулся покрепче в бурку и погнал своего мула вниз.

Внизу, в долине, погода была ясная; воздух и не жаркий, и не холодный.

Отец мне дорогой многое показывал и объяснял.

Тотчас же за переездом через большую нашу гору идет длинный, очень длинный каменный и узкий мост через большое болото. Мост этот построен давно уже одним нашим же загорским жителем для сокращения пути из Янины в эту сторону.

Это большое благодеяние, иначе приходилось бы людям и товарам на мулах далеко объезжать.

За болотом, по ровной и зеленой долине янинской, огражденной с обеих сторон гребнями нагих и безлесных гор, мы ехали скоро и весело.

Разогнали иноходью небольшую наших мулов; отдохнули в хану под платаном, свежей воды и кофе напился и около полудня увидели с небольшой высоты Янину; увидели озеро её голубое и на берегу его живописную крепость с турецкими минаретами.

Мне город понравился. Тихия предместья в зеленых садах; все небольшие, смиренные домики глиняные, крытые красною черепицей, а не белым или серым камнем, как у нас в селлах.

А дальше уже начались хорошие архонтские и высокие дома...

Въезжая в предместье янинское, я сказал себе: «Посмотрим, какой человек нам первый встретится, – веселый он будет или печальный. Такая будет и жизнь, и судьба моя в Янине!»

Сначала в целом длинном переулке нам никто не встретился; время было полдненное, и все люди или завтракали, или отдыхали. Кой-где у ворот играли дети; но их я не считал встречаемыми, потому что они стояли на месте или сидели на земле, когда мы проезжали. На одном повороте я испугался, увидав издали согбенную старушку с палочкой и в черном платье; но она повернулась в другую сторону, и я успокоился.

Наконец предстал пред нами человек, которого я готов был в первую минуту назвать вестником истинной радости. Казалось бы, что веселее, ободрительнее, праздничнее этой встречи и придумать нельзя было в угоду моему гаданью... Как древний оплит, грядущий на брань за отчизну, был наряден и весел Маноли, главный кавасс русского консульства, которого отец мой знал давно. Ростом, длинными усами, походкой, гибким станом и блеском оружия – всем

он был воин и герой... Фустанелла его была чиста как снег на зимних вершинах загорских, и верхняя одежда его была из синего бархата, обшитого золотым галуном с черными двуглавыми российскими орлами.

Но увы! сам Маноли был и весел, и красив, вести же его были печальные!

Он сказал нам, что г. Благов еще не возвращался из путешествия, что записки от него никакой не было, что дом его весь, кроме канцелярии, заперт и даже ходят слухи, будто бы он уехал внезапно куда-то из Эпира, в Корфу или в Македонию, еще неизвестно пока...

Отец мой был заметно смущен этою неожиданностью и особенно тем, что г. Благов не потрудились даже запиской, сообразно обещанию своему, известить секретаря или слуг своих, чтобы нам приготовили в консульстве комнату.

Что касается до меня, то я больше отца, я думаю, обижен этим и огорчен. Все мечты мои жить в первом и лучшем из иностранных консульств, в обществе такого молодого и любезного высокопоставленного человека, как г. Благов, – все эти мечты исчезли как утренний туман, как дым или прах!..

Печально сидел я на муле моем и ждал, что скажет отец. Я думал, он расскажет Маноли о приглашении г. Благова к нам, быть может, отворят комнаты; но отец молчал...

Отец молчал, зато Маноли, кавасс-баши, говорил все время, хвалил г. Благова, хвалил загорцев, хвалил ум отца, хвалил меня, говорил, что я красавец, что все «красные» дочери янинских архонтов будут бегать к окнам, чтобы смотреть на меня, и когда отец мой с неудовольствием заметил ему на это, что я не девицам, а учителям угождать еду в Янину, тогда Маноли согласился с ним, что это гораздо лучше и полезнее...

– Да! – сказал он с поспешностью, – да! г. Полихрониадес, вы правы! Даже очень правы по-моему. Что-нибудь одно: или меч, или перо! Просвещение в наше время необходимо. Скажите мне, я спрашиваю вас, г. Полихрониадес, куда годен человек, который ни к мечу, ни к науке неспособен? Куда? На что? На какое дело? скажите мне, во имя Божие, я вас прошу сказать мне, куда он такой человек годится? Улицы мести? Уголь на ослах из города возить? Тяжести носить? Землю пахать? Грести на лодке в янинском озере? Вот на что, вот на какие презренные занятия годится нынче простой человек, ни меча, ни пера не удостоившийся... Да. Учись, учись, милый мой Одиссей... Утешай родителей, утешай... А г. Благов будет очень жалеть, если не увидит вас; он говорит, что загорцы – умнейшие люди, и возносит их гораздо выше глупых янинских архонтов. И я согласен с консулом.

Так рассуждал сияющий кавасс-баши, а мы все молчали и смотрели с отцом друг на друга.

Наконец отец сказал: «Поедем к доктору Коэвино». Мы простились с Маноли и поехали дальше. Отец был не в духе и продолжал все время молчать. Дом, который занимал Коэвино, принадлежал одному турецкому имаму и стоял на прекрасном месте; пред окнами его была широкая зеленая площадка, старинное еврейское кладбище, на котором уже давно не хоронят и где множество древних каменных плит глубоко вросли в землю. Часто здесь бывает гулянье и пляски на карнавале, и народ отдыхает тогда толпами на этих плитах. Напротив караульня турецкая, много хороших домов вокруг площади и большая церковь *Архимандрио* недалеко. Я немножко утешился и обрадовался, что буду жить на таком веселом месте и в таком большом доме, если Коэвино согласится оставить меня у себя.

Однако двери у доктора были заперты, и мы, сошедши с мулов, напрасно стучались. Никто нам не отворял. Стучаться принимались мы не раз и все громче и громче, так, что даже некоторые соседки стали смотреть на нас из окон и дети повыбежали из дверей.

Нам стало так стыдно, что мы уже хотели садиться опять на мулов и ехать в хан; но одна соседка уверяла отца, что доктор скоро, вероятно, возвратится, потому что время ему обедать, а другая, напротив того, говорила: «Где ж у него обед? Гайдуша, служанка его, вчера поссорилась с ним и сегодня на рассвете ушла и вещи свои унесла».

Третья женщина предполагала, что доктор где-нибудь в чужом доме, у одного из больных своих позавтракает.

Что́ нам было делать? Стыд просто! Решились мы ехать в хан. Но еще одна старушка сказала, что лучше послать к Абдурраим-эффенди; не у него ли доктор? Абдурраим-эффенди, сосед, близко отсюда; доктора он очень любил, и у него жена давно больна. Она позвала свою маленькую внучку и велела ей бежать скорее к Абдурраим-эффенди за доктором.

Отец решился ждать. Мы сняли ковры с наших мулов, постлали их на камнях и сели у докторского порога. Пока девочка бегала к Абдурраим-эффенди, старушка рассказала отцу, что́ вчера случилось у доктора в доме. Был у доктора слуга Яни, из деревенских. Сама же Гайдуша жаловалась, что у неё очень много работы, что доктор любит жить чисто и просторно; а у неё больше сил нет уже одной все делать, – шить, мести, готовить, убирать, мыть, платье чистить, диваны равнять, самому ему раза три в неделю еще тело все бритвой брить.

Отец спросил: «Как так все тело брить? Что́ это ты говоришь?»

– Да! – сказала старушка (со вздохом даже, я помню), – да! хочет, чтобы всегда весь выбрит он был. Безумный человек!

– Безумный, безумный! – закричали в один голос две-три соседки. – На цепь человека этого следует! На цепь давно.

А одна женщина с сожалением добавила: – Это он, черная судьба его такая, с турками очень подружился, все с турками, от того и в грех такой впадает. Даже и в баню турецкую часто любит ходить, а это тоже не хорошо, потому что муро святое из тела исходит от испарины.

Отец говорит:

– Так, так, да что́ же вчера-то за ссора была?

Женщины рассказали, что когда Гайдуша долго жаловалась на обременительную работу, доктор нанял этого Яни слугу. Две недели всего прожил он и не мог более. С утра Гайдуша все его учила и осуждала: «Ты зверь, ты животное, ты необразованный человек. Графины на самые углы стола ставь, а не на серединку: так в благородных домах делают. Иди сюда, нейти туда! Вон из кухни, деревенщина! ты только мешаешь». Яни и сказал доктору: «Прости мне, эффенди, я не могу у тебя больше жить. Эта чума (на Гайдушу) с утра мне голову ест!» А Гайдуша: «Я чума? я?» раз! и за горло молодца; он почернел даже. Доктор стал отнимать у неё паликара бедного. Она в доктора вцепилась. Тогда уже Яни доктора стал защищать, и вместе они хорошо ее наказали. Потом Яни с вечера уже ушел, а Гайдуша на рассвете прежде тарелки, блюда и чашки все перебила в кухне, а потом взяла свои вещи в узелок и ушла. Доктор ей за шесть лет службы по тридцати пиастров в месяц должен, это значит более двадцати турецких лир! Мало разве? Как следует приданое целое. Теперь Гайдуша пойдет паше жаловаться. А доктору и кушанья готовить сегодня некому, и дом стоит пустой, и не вернется Гайдуша никогда! Мало-помалу, пока старушка рассказывала, собралось около нас много народу. Женщины, дети, одна соседка уже и младенца грудного с собою принесла и стала его кормить, другие с пряжей сели по плитам и на землю. Двое нищих сели тоже слушать. Потом и заптие-турок подошел посмотреть, нет ли какого беспорядку, увидел, что все мирно, и он присел поодаль на камушек, сделал себе папирску, и одна из соседок ему из дома уголь вынесла, а он поклонился ей и поблагодарил ее. И нищие слушали внимательно и удивлялись, а заптие-турок сказал: «Увы! увy! хуже злой женщины есть ли что́ на свете!»

Наконец прибежала соседская девочка от Абдурраима-эффенди, принесла ключ и сказала, что доктор просит отца войти в дом и подождать его не больше полчаса, пока он кончит все дела у бея.

Отпер отец дверь; мы взошли, и за нами несколько соседок тоже взошли в сени. они стали нам помогать вещи наши с мулов снимать. Мы их благодарили. Та добрая старушка, которая нам все рассказывала, беспокоилась, кто нас сегодня накормит у доктора, а что сам он верно

уже у турка бея позавтракал. «Разве уж мне придти приготовить бедному Коэвино? Он у меня не раз лечил детей, чтоб ему долго жить!» сказала она.

– И птицы небесные питаются, а не то мы! – сказал ей отец.

Как только он это сказал, как вдруг стрелой вбежала в дом сама эта Гайдуша, о которой вся речь была: маленькая, смуглая, хромая; и глаза большие, черные у неё, и как огонь!

И как закричит отцу: «Добро пожаловать, г. Полихрониадес, добро пожаловать! Извольте, извольте наверх... доктор очень рад будет!» А потом на соседок: «Вы что же тут все собрались? Все у вас худое что-нибудь на уме у всех! Аман! аман! Что за злобу имеют люди. Идите по добру по здорову по жилищам своим... Дети! вон сейчас все... вон!»

Господи! что за женщина! Я испугался. Детей повыкидала за двери... На женщин еще закричала. Одна было стала тоже на нее кричать: «Ты что? Да ты что?» А Гайдуша ей: «а ты что... А ты что? Разбойница!»

– Нет, ты разбойница! Ты чума!

Шум, крик. Отец говорит: «Стойте, стойте, довольно!» А Гайдуша одного нишего в спину, у другого наш мешок вырвала, который он с мула снимал. «Еще украдешь, разбойник»... Заптие-турок в двери заглянул на этот крик. Она и его: «Ты что желаешь, ага? Иди, иди. Не здесь твое место. Не здесь; я, слышишь ты, я это тебе говорю!» Турок ей:

– Ты в уме ли, женщина?

Как она закричит на него: «Я? я? Не в уме? Такая-то царская полиция должна быть?.. Вы что смотрите? Вот смотри лучше, что у вас под городом два дня тому назад человека зарезали... Да я к паше пойду! Да мой доктор, – первый доктор в городе. Его все паши любят и уважают...»

Наговорила, наговорила, накричала; как поток весенний с гор бежит, и не удержать ничем. Бедный турок только одежду на груди потряс и сказал: «Аман! аман! Женщина!» И ушел за другими.

Гайдуша как молния и двери захлопнула и заперла их изнутри и после опять кричала: «Извольте, извольте». И ставни в больших комнатах отпирала, и табак, и спички, и бумажку, и пепельницу отцу несла, и в одну минуту и скрылась, и опять с водой и вареньем на большом подносе пред нами явилась и приветствовала нас еще; и кофе сварила, и подала, и два раза зачем-то уже к соседке одной сбегала, и помирилась с ней, и вещи какие-то принесла, и мы уже видели ее, пока она в кухне птицей с места на место летала, завтрак нам готовила.

И отец сказал, как и заптие, глядя на нее: «Ну женщина! Это диавол! Хорошо сказала твоя мать, что у Коэвино оставлять тебя страшно. Такая в худой час и задушит и отравит ядом тебя».

Однако уже Гайдуша и соус прекрасный с фасолью нам изготовила, и вареную говядину с картофелем, и фруктами и халвой нас угостила, и множество разных разностей, прислуживая нам, очень умно и смешно нам рассказывала, а хозяин наш все еще не шел.

– Опоздал доктор, – сказал Гайдуше отец.

А Гайдуша ему на это: – Коэвино человек очень образованный и в Европе воспитанный. У него слишком много ума и развития для нашей варварской Янины. Он любит разговаривать и спорить о любопытных и высоких предметах. Верно он заспорил или о вере с евреем каким-нибудь, или у Абдурайма-эффенди с каким-нибудь имамом ученым: почему Фатьме, дочь Магомета, будет в раю, а жена его, Аише, например, не будет... Или в русском консульстве в канцелярии сидит и чиновникам про свою жизнь в Италии рассказывает. Бедный доктор рад, когда встретит людей, имеющих премудрость, или, так-сказать, каприз какой-нибудь приятный... И здесь у нас христиане, даже и купцы, народ все более грубый... Впрочем прошу у вас извинения, что я, простая мещовская селянка, берусь при вас, господин мой, судить о таких вещах!..

– Я с удовольствием тебя слушаю, – сказал ей отец.

А Гайдуша: – Благодарю вас за вашу чрезмерную снисходительность к моей простоте и безграмотности!

Я подумал: «Баба эта хромая красноречивее многих из нас. Она не хуже самого Несториди говорит. Вот как ее Бог одарил!»

После завтрака я нестерпимо захотел спать: сказать об этом Гайдуше боялся и стыдился, долго ходил по всем комнатам, отыскивая себе пристанище и, наконец, нашел одну маленькую горницу внизу, с широким диваном и одним окном на тихий переулок.

Притворил поскорее дверь и упал на диван без подушки. Не успел я еще задремать, как Гайдуша вбежала в комнату. Я испугался, вскочил и сел на диване, чтобы показать, что я не сплю.

Но Гайдуша довольно милостиво сказала мне: – «Спи, спи, дитя, отдыхай». Принесла мне подушку, вспрыгнула мигом на диван, чтобы задернуть занавеску на окне, и поставила мне даже свежей воды на случай жажды.

Сильно смущенный её вниманием, я сказал ей, краснея:

– Благодарю вас, кира-Гайдуша, за ваше гостеприимство и прошу вас извинить меня за то, что я так обременил вас разными трудами.

Кажется бы и хорошо сказал?.. Что же могло быть вежливее с моей стороны, приличнее и скромнее?

Но лукавая хромушка усмехнулась, припрыгнула ко мне и, ущипнув меня за щеку, как какого-нибудь неразумного ребенка, воскликнула: «Глупенький, глупенький паликарчик горный... Спи уж, не разговаривай много, несчастный! Куда уж тебе!»

И ускакала из комнаты.

А я вздохнув крепко уснул. И не успел даже от утомления вникнуть в смысл её слов и разобрать, с какою именно целью она их сказала, – с худою или хорошою? Вернее, что с худою, однако; так казалось мне. Спал я долго и проснулся только под вечер от ужасного крика и шума в соседней комнате. Казалось, один человек неистово бранил и поносил другого, топая ногами и проклиная его. Другой же отвечал ему голосом нежным, трогательным и быть может даже со слезами.

Что за несчастье?! Что случилось?

II.

Крик и шум, которые разбудили меня, не имели ничего опасного: это доктор Коэвино рассказывал отцу моему о своих делах и чувствах. Он пришел в то время, когда я спал, и обрадовавшись искренно приезду моего отца, то гневался, то объяснял ему, как ему иногда горько и тяжело. И грозный голос и умоляющий, оба принадлежали доктору.

Я присел на диван поближе к дверям и слушал.

– О! друг мой, друг мой! – говорил Коэвино грустным голосом (и мне казалось даже, что он может быть и плачет). – Друг мой! Во имя Божие, прошу тебя, послушай меня!

– Я слушаю тебя, Коэвино, успокойся... – отвечал ему отец.

– Слушай, друг мой! Я тебя прошу во имя Божие, слушай меня внимательно и рассуди потом. Мы сидели все на диване вокруг. Он, этот глупец, этот архонт, этот богач... сидел против меня. Разговор продолжался. Он говорит: «Всякий патриот должен согласиться, что эпитроты сделали много для эллинской цивилизации...» Я возразил на это, с гордостью, могу сказать, что я не патриот!.. «Да, я не патриот... Клянусь честью моей, я презираю эллинский патриотизм... Он для моего ума не понятен», – сказал я. А Куско-бей, вообрази себе, друг мой, сардонически усмехнулся и говорит: «Для вашего ума, доктор?.. быть может!»

Я заинтересовался рассказом, я знал имя Куско-бея. Из христиан, он был первый богач в Янине, и у него было в горах и по долине Янинской до пяти имений с обязанными крестьянами.

Но передав отцу колкий ответ Куско-бея, Коэвино надолго замолчал. Потом вдруг как вскрикнет, как застучит ногами...

– Мне! Мне это сказать? и кто же?.. Янинский архонт! который торговлей и мошенничеством составил себе огромное состояние... Развратный человек... Разврат исполненный, могу сказать, ума, грации, изящества, – это другое дело! Но *его* разврат, *его*! «Мой ум, мой ум, животное? – сказал я ему. – Ты, дурак и неуч, разве в силах судить о малейшей из идей моих. Ты, подлец и *хамал*²⁶, знает ли твой янинский мозг, наконец, что такое идея? Я был в Европе, осел! Мне во Флоренции рукоплескали профессора, когда я выдержал экзамен. Я ежедневным трудом, познаниями хотел приобрести средства к жизни... Выйдем вместе отсюда сейчас, чтобы не оскорблять хозяина дома, и я, сойдя с лестницы, разможжу тебе голову этой тростью! Ха, ха, ха! есть ли у тебя человеческий мозг или свиной, или лошадиный, могу сказать!» Да! или лошадиный, могу сказать! Да!.. А? Полихрониадес; а? друг мой, хорошо я его отделал?.. Скажи, умоляю тебя, будь ты жив и здоров всегда, скажи, что хорошо?..

– Что ж хорошего, – отвечал ему отец, – столько врагов себе создавать. Куско-бей человек сильный, богатый.

Я слышал, что Коэвино передразнил отца голосом:

– Сильный, богатый... архонт янинский, подлец! Архонты! аристократия... Нет, я понимаю аристократию, я люблю ее, я сам, могу сказать, аристократ... Да! аристократия имени, рода, меча! Рыцарство. Заслуги государству, великия открытия науки и ума, наконец... так, как в Европе. Но здесь эта наша низкая плутократия, господство капитала, интересов... А! насколько турки благороднее, возвышеннее их, этих разносчиков наших. Согласен ты?

Отец ему на это сказал:

– Не согласен, друг мой, не согласен, извини. Я и сам разносчик, вдобавок, скажу тебе, и небогатый. Хорошо тебе турок хвалить, когда ты доктор и с них берешь деньги, а я из тех, с которых они берут, что хотят. Знаешь ты это? Да, я сам был разносчиком и хамалом, как есть. Мальчишкой я, согнувшись, ситцы и коленкор разносил на этих плечах. Хозяин посылал меня и в жар и в дождь по архонтским жилищам, и я носил. Согласиться я с тобой не могу!..

²⁶ *Хамал* – носильщик.

– О! прости мне, друг мой, если я тебя оскорбил! воскликнул Коэвино нежным голосом. – Обними меня... и прости... Ты, я знаю, честный и благородной души человек... Нет, я честный труд люблю и уважаю. Я сам трудом насущный хлеб приобретаю. Но, видишь, я люблю сердце, священный огонь люблю в человеке, ум, могу сказать, чувства возвышенные...

И, помолчав немного, доктор продолжал так тихо, что я принужден был напрячь все мое внимание.

– Вот тебе пример возвышенных чувств в бедности. Эта несчастная женщина Гайдуша. Она вспыльчива, как демон, но предана мне по рабски. Вчера вечером она рассердилась и убежала из дома. Я был этим крайне расстроен. Но, заметь, какая любовь, какая преданность... Какая глубина и тонкость чувств... Она ушла к одной знакомой ей монахине в «Архимандрию» и увидела оттуда ваш приезд... «Гости! у доктора!..» В один миг забыты гнев, месть и злоба... Она бежит, летит на крыльях. Она служить вам. И все это для чего? чтоб я не осрамился пред гостями... А? Это не ум? Скажи. А? Это не чувство?

– Девка умная, – сказал отец.

А доктор опять к нему:

– А? скажи? умная? А? скажи, разве не возвышенно это. А? скажи...

– Возвышенно, но зачем же она тарелки у тебя вчера все перебила. Она, проклятая, должна бы помнить, что ты ежедневным трудом приобретаешь деньги.

Коэвино в ответ на это отцовское замечание захохотал изо всех сил и должно быть запрыгал даже, потому что пол затрясся во всем доме. А потом закричал:

– А! Тарелки! браво! Мне это нравится. Я люблю этот грозный гнев! Этот пламень чувств... Тарелки бьет! Браво! Паликар женщина! Я люблю эту фуриозность, фурию, гнев, эту страсть! И потом заметь, что она разбила двенадцать дешевых тарелок, а фарфоровые не тронула... О! нет... Я тебе сейчас покажу их... Один сервиз мне подарил Абдурраим-эффенди, благородный турок!

Доктор кликнул Гайдуше, сказал ей повелительно и грозным голосом:

– Беги скорей и принеси оба сервиза фарфоровых сюда, показать господину Полихрониадесу. И голубой, и тот, который с разноцветными узорами. Оба! живо! О! голубой. Это прелесть! Его мне подарил Абдурраим-эффенди, благородный турок.

– Хорошо, но дитя там спит, где спрятан фарфор.

Тут Коэвино закричал:

– А! да, дитя. Сын! Это правда. Я его забыл. Тем лучше, пусть он встанет, мы и его посмотрим... Сын... Он вероятно теперь большой... Одиссей, вставай!

Я поспешно поправился перед зеркалом и пошел в гостиную с некоторым страхом и смущением.

Увидав меня, доктор отступил несколько шагов назад и улыбаясь рассматривал меня долго в лорнет.

– А! сын... Дитя! Одиссей! А! В халатике, по-древнему! браво! обернись спиной... В саване турецком. Живи и будь здоров!

Меня ужасно оскорбило замечание доктора насчет моего халатика или «турецкого савана», и я после этого целый вечер был расстроен и печален. «Лучше провалиться под землю, думал я, чем жить так, как я живу! Что за несчастье! Лучше бы меня уже в цвете юности моей Харон взял. Это мучение! Консул смеется надо мной, что я не так говорю; этот сумасшедший говорит, что на мне саван турецкий! И правда! я уже давно думал, что надо бы мне франкское платье сшить, как все благородные люди нынче носят. Увы! Все горе нам бедным! На чужбину теперь меня увезли из родного гнездышка, бедного меня и несчастного! А пристанища нет, нет убежища! Консульство без консула стоит, а здесь оставаться я не могу. Голубушка мать моя, канарейка моя золотая, хорошо сказала, что в этом доме мне жить нельзя... Женщина эта дьявол сам во образе женщины. Шутка это, вчера на жандарма на турецкого закричала!

Что же я такое для неё после этого? Червь, которого она растоптать может. А сам доктор? И он тоже не заслуживает никакой похвалы; ибо не прилично образованному и благородному человеку оскорблять и срамить так своих гостей. Саван турецкий! увы! это не жизнь, а мученье, это чужбина. В Франгадесе, в отчизне моей, никто меня так не оскорблял и никто над мной не смеялся!»

Хорошо делают люди, что осуждают этого Коэвино. Пристойно ли человеку в летах так кричать и прыгать? И выдумал еще что! Простую свою и безграмотную Гайдушу возвышает над янинскими архонтами, над землевладельцами и великими торговцами, которые в училищах обучались. Нет, он глуп и дурной души человек, и я скажу отцу, что я в доме этом жить боюсь и не буду!

Весь вечер после этого я провел в подобных мыслях. Пойти мне было некуда без отца, потому что я никого в Янине не знал. Итак, я сидел в углу и смотрел до полуночи почти с отвращением, как Коэвино без умолку рассказывал и представлял отцу разные вещи. И чего он не рассказывал, чего он не представлял! И чего он только не осуждал и кого не бранил!

И на веру христианскую напал, и на духовенство наше греческое.

И про Италию очень долго рассказывал, какие улицы и дворцы, и какие графы и графини в Италии его уважали, и как папу выставят на площадь. И опять, как ему рукоплескали. Говорил и о консулах янинских; рассказывал, как они все его уважают и как принимают прекрасно. Хвалил г. Благова. «Милый, благородный, жить умеет». Хвалил старика англичанина: «Прекрасной фамилии... Корбет де-Леси! Почтенный старец Корбет де-Леси! Прекрасной фамилии... Голубой крови человек... Почтенный старец Корбет де-Леси!..» Француза monsieur Бреше хвалил меньше; «не воспитан, – сказал он, и довольно груб». Про австрийского консула отзывался, что он толстый, добрый повар, из пароходной компании «Лойда». А про эллинского закричал три раза: «дурак, дурак, дурак! Кукла, кукла в мундире, кукла!»

И патриотизм опять порицал.

– Я патриот? Я? О, это оскорбление для меня. Это обида! Эллада! Какие-то босые крикуны... Ха-ха-ха! Великая держава в один миллион. Ни ума, ни остроумия, ни аристократии, ни приятного каприза и фантазии! Мой патриотизм для всего мира, патриотизм вселенский. Англичанин-лорд, джентльмен, который при жене без фрака за стол не сядет. Француз любезный. Русский боярин. О! русские, это прелесть. Дельнее французов и любезнее англичан. Вселенная, вселенная! Я ее обнимаю в душе моей. Турок, наконец турок! Абдурраим-эффенди, тот самый, который мне голубой сервиз подарил.

И потом начал приставать к отцу:

– А? скажи? цвет небесный с золотом. Это хорошо? Скажи, благородный вкус? благородный? Абдурраим-эффенди! Вкус! Абдурраим-эффенди! Вкус!

Бедный отец чуть жив от усталости и сна сидел. Я отдохнуть успел после завтрака, а несчастный отец сидел на диване чуть живой от утомления и сна. Иногда он и пытался возражать что-нибудь безумному доктору, вероятно для того лишь, чтобы речью самого себя немного развлечь и разбудить, но Коэвино не давал ему слова сказать. Отец ему: «А тебе скажу...» А Коэвино громче: «Абдурраим-эффенди! Аристократия! граф... Гайдуша... архонты все подлецы!»

Отец еще: «Э! постой же, я тебе говорю...» А Коэвино еще погромче: «Разносчики все... А? скажи мне? А, скажи? Благов, Корбет де-Леси, Абдурраим, Корбет де-Леси, Благов, Италия, папа, фарфор голубой: у меня три жакетки из Вены последней моды... Фарфор... Благов, Корбет де-Леси!..»

Сам смуглый, глаза большие, черные, выразительные, волосы и борода густые, и черные и седые. В один миг он менялся весь; взгляд то ужасный, грозный, дикий, то сладкий, любовный; то выражал он всеми движениями и голосом и глазами страшный гнев; то нежность самую

трогательную; то удивление, то восторг; то ходил тихо и величаво как царь всемогущий по комнате, только бровями сверкая слегка, а то вдруг начинал хохотать, и кричать, и прыгать.

Господи, помилуй нас! Сил никаких не было терпеть, наконец! У отца голова на грудь падала, но доктор все говорил ему: «А, скажи? А, скажи?..» А сказать не давал.

Било десять на больших часах; отец встал с дивана и сказал:

– Время позднее, доктор, не снять ли уже нам с тебя бремя беседы нашей?

Нет, – говорит, – я не устал и рад тебя видеть.

Било одиннадцать. Тоже. Било двенадцать, полночь...

– Ты уже спишь, я вижу, – сказал наконец Коэвино отцу.

– Сплю, друг мой, прости мне, сплю, – отвечал отец не поднимая уже и головы, бедный!

Коэвино огорчился, и я с досадой заметил, что у него как бы презрение выразилось на лице: посмотрел на отца с пренебрежением в лорнет, замолчал и позвал Гайдушу, чтоб она нам стелила.

– Я давно постелила, – отвечала Гайдуша. – Я сама деревенская и знаю, что деревенские люди привыкли рано спать. Это мы только с вами, господин доктор, привыкли так поздно беседовать.

И усмехнулась хромушка и прыгнула как заяц в сторону.

Опять оскорбление! Этот иступленный и на отца, которого сам же до полусмерти измучил, смотрит с презрением в стекло свое франкское, папистан такой, еретик ничтожный! И на меня стекло это оскорбительно наводит. И, наконец, эта хромая *ламия*, эта колдунья, смеет про нас, загорцев, говорить, что мы деревенские люди.

Нет, я скажу отцу: «Отец! ты меня родил, ты и похорони меня, отец, золотой ты мой, а я жить здесь не буду».

Когда мы остались одни, я снял с отца сапоги и помог ему раздеться, и он все время принимал услуги мои молча и с закрытыми глазами. Разделся он и упал на постель не помолвившись даже по обычаю, а только успел сказать:

– Помилуй нас, Боже, помилуй нас!

Я тоже лег, помолчал и говорю:

– Отец!

А он спрашивает:

– Чтó?

Я говорю:

– Отец, ты меня родил, ты и похорони меня, а я здесь жить не могу.

Отец ни слова даже и не ответил; он уже глубоким сном спал.

А я, как отдохнул после завтрака, то не мог так скоро заснуть и довольно долго тосковал и вздыхал на постели, размышляя о том, как тяжела в самом деле чужбина. Теперь еще и отец мой золотой со мною, ест кому защитить и от турецкой власти, от паши, и от Коэвино, и от Гайдуши. А когда один останусь... Бедная голубка мать моя что-то думает тепер? И бабушка моя дорогая? И Константин? И Несториди? И служанка наша добрая?

И вся молитва моя была, чтобы г. Благов, русский консул, возвратился поскорее и чтобы мне жить у него под сенью двуглавого орла всероссийского. Он хоть и пошутил надо мною, но совсем иначе. А этот во весь вечер даже и внимания не обратил на меня.

Кроме комплимента о турецком саване ничего не нашел сказать!

Нет, он даже очень глуп после этого, я вижу.

С этими мыслями я заснул наконец и на другое утро проснулся довольно поздно опять от шума и хохота! Коэвино хохотал и кричал уже в самой нашей комнате.

Я открыл глаза и с изумлением увидел, что он сам точно в таком же турецком саване, как и я, т.-е. в ситцевом халате, в длинной шубе (джюбэ) с широкими рукавами, в феске, шалью подпоясан по нижнему халату, курит чубук, отца кофеем угощает, хохочет и говорит ему:

– Теперь к тебе с визитами многие приедут! Архонты! Попы!.. Принимай их пока у себя в гостиной, а мне для туалета моего нужно еще по крайней мере два часа... Я раньше и к больным никогда не выхожу. Чтоб я носильщик что ли? Архонт я янинский, чтоб я стал рано выходить из дома! А? скажи мне? А! Прав я? А!

На меня он опять взглянул небрежно в лорнет, даже и с добрым утром не приветствовал меня и ушел на другую половину дома. А мы с отцом остались, наконец, одни. Дождался я этой минуты!

– Чтоб, Одиссей, – спросил отец ласково, – здоров ли ты?

Я сказал, что здоров, но нарочно придал себе опять печальный вид.

– Однако, ты не весел, вижу? – спросил опять отец, – мордочку свою вниз повесил?.. Чтоб так?

– Отец! – сказал я тогда с чувством, складывая пред ним руки, – прошу тебя, не оставляй меня в этом доме!..

Отец молчал задумчиво.

А я воодушевился и передал ему, что Гайдуша назвала нас с ним деревенскими людьми, на что он от усталости не обратил вероятно внимания. Сказал и о саване турецком, и о страхе, который наводят на меня Коэвино вспльчивостью своей, а Гайдуша своею змеиною злобой...

– Это ведьма хромая, ведьма, а не женщина! – говорил я – Отдай меня в русское консульство. Прошу я тебя и умоляю!

Отец долго молчал еще и слушал меня и, наконец, сказал:

– Оно и правда, что мытарства наши еще не кончились, видно. Однако с надеждой на Бога подождем еще немного. Гайдуша – ведьма; это ты хорошо сказал. Ей, я думаю, и убить в гневе человека нетрудно. Ничего, однако, подождем еще.

Мне этот ответ отца показался жестоким, и я подумал про себя:

«Подождем, подождем!..» Вот и отец иногда ко мне не сострадательен. О саване турецком вот ни слова не упомянул. Отчего бы ему не сказать прежде всего: – Сын мой Одиссей! Я сошью тебе скоро, как можно скорее, модный сюртучок à la franca, чтобы не смеялись люди над твоим турецким халатиком. Подождем! Да, а каково жить так, об этом отец не спросит? Каково жить мне так. И в турецком платье ходить, и оскорбления терпеть от чужих людей ежечасно. Сельские люди: – спите рано! Говорить не умеете! Ну, чужбина! Истину говорит песенка наша народная про злую чужбину:

Ах! Не могу ходить я, бедный, не могу я...

Ах! ножки ноют у меня, ах, и колена гнутся.

Нет матушки поплакать обо мне и нет жены со мною.

И братцев милых нет, чтоб с ними пошептать.

Анафема тебе, чужбина, да! анафема, со всем твоим добром.

III.

Мы прожили у доктора Коэвино в доме около трех недель. Я за это время думал иногда, что ум потеряю. У доктора всякий день что-нибудь новое; то ссоры опять с Гайдушей, то мир; то крик и рассказы за полночь. Мы ходили с отцом по городу, смотрели, принимали визиты, отдавали их. Сколько я новых людей за это время увидел! Сколько памятников старины! Сколько новых речей услышал! Как же на всех этих людей и на все эти новые для меня предметы смотрел, открыв широко глаза, и как я многому дивился! Всех чувств моих я и передать тебе не могу!

Мы ходили с отцом в старую крепость, которая так романтически высится на неприступных скалах над озером.

Мы видели высокую деревянную башню над крепостными воротами; с неё в последний раз с горестью смотрел Али-паша эфирский на поражение своих дружин султанскими войсками. Видели его гробницу, подобную беседке из узорного железа... Под этим узорным, уже ржавым, навесом лежит его безглавое тело. Голова его, многодумная, голова рождающая, женская²⁷, как у нас говорят, была отправлена в Стамбул. Везде до сих пор по всему Эпиру видны следы его мысли, и слышно его имя.

Здесь идет заброшенная мостовая по дикой горе. Кто вел дорогу эту, теперь забытую нерадением? Али-паша эфирский вел ее. Там остаток канала, старый мост; тут место, где у него содержались для забавы дикие звери. Вот здесь жила несчастная Евфросиние, которую любил его сын Мухтар и которую старик Али утопил ночью в Янинском озере из ревности, ибо и сам влюбился в нее страстно.

Здесь он однажды в гневе повесил на окне сына одной вдовы... Вот окопы его, окружавшие город. Вот старый и богатый бей турецкий, который помнит страшного владыку. Он здоров, но ходит согбенный. Еще он был отрок невинный, когда Али-паша приковал его, по злобе на отца его, в тесном углублении стены в темнице и так держал его долгие годы.

Вот другой старик, христианин, дряхлый и молчаливый капитан. Молодым паликаром он служил сыновьям паши, сражался в рядах его стражи, был им любим и едва не погиб вместе со всею семьей его от султанского гнева.

Там, за горами, христианский древний скит, которого седой игумен также помнит его. Он посещал этот бедный скит, заезжая отдыхать в него с охоты, чтил, любил его, иногда одарял.

Вот зеленеет издали на озере небольшой островок; среди деревьев видны здания. Это тоже скит. Туда скрылся побежденный Али с любимую женою своею и лишь одним верным слугою; там умертвили его люди султана. Старый пол смиренной обители хранит еще те отверстия, которые пробиты в нем пули, и под навесом простого досчатого крыльца еще цел деревянный столб, рассеченный глубоко ятаганом столь долго непокорного сатрапа.

Мы входили с отцом и в деревянный желтый конак городской, который он построил и в котором жил. Теперь в нем заседает правитель края и производит суд и расправу. Мы посетили по делам отцовским нескольких турецких чиновников, и один из них, молодой Сабри-бей, очень образованный и вежливый, водил нас даже в большую залу с колоннами и расписным золоченым потолком, в которой Али-паша принимал иногда парадные посещения. «Здесь он сидел вооруженный, – рассказывают люди, – и посетители спешили проходить, низко кланяясь, мимо его в противоположную дверь. Он внимательно присматривался к их движениям, ибо остерегался врагов и в толпе гостей столь почтенных и преданных с виду»...

²⁷ Голова женская в просторечии у греков, голова женского пола, не значит такая, как у женщин, а рождающая, плодovitая голова.

Мне показал отец издали и ту часть здания, где у Али был гарем. До сих пор на наружной стене видны какие-то грубые, не ясные изображения оружия, знамен и как будто огонь пылающий и дым.

В просторном жилище старик был окружен свирепой и отважной дружиной, которая верно охраняла его. Сулиот православный, янинский турок, приверженный исламу, и арнаут, равнодушный ко всякой вере, ему были одинаково дороги, лишь бы все они молодецки творили грозную волю его.

Пятьсот девиц, одна моложе и красивее другой, и пятьсот отроков и юношей прекрасных служили ему, веселили и развлекали его.

И девушки эти, и юноши были нарядны, разукрашены у него, в шелку, в червонцах, в фустанеллах белых, зимой в шубках, богато расшитых золотыми узорами. Когда ему, под старость его, становилось иногда скучно, он выбирал самых красивых из юношей этих, заставлял их веселиться и обниматься при себе с девицами, а сам сидел на софе, курил и любовался на них.

Когда он ехал в дорогу верхом, пешие паликары бежали вокруг него, и музыка играла, когда он приказывал.

Мне показал отец еще на башне у входа в крепость изваянное из темного камня лицо человека с усами.

Я спросил, что это значит? И отец сказал мне так: «Говорят, что внутри хранится голова одного смелого разбойника, который опустошал страну; Али-паша изловил его, снял ему с лица еще живому кожу, вставил отрубленную голову его в стену и велел в этом месте изобразить из камня его лицо, на вечный страх другим».

Грозное было то время. Не всякому такое время было под силу.

Мы ходили также на поклонение мощам мученика нынешнего века, чтимого святым, Георгия Нового, Янинского, и в дом его сына, который только что женился на молодой девушке, одной из первых красавиц в городе. Тихая, кроткая и прелестная девушка.

Но еще ты знаешь ли, когда и как приял свой недавний и свежий мученический венец наш Георгий Янинский? Боюсь, что ты забыл о нем, или даже вовсе и не знаешь этой новой славы твоего племени, славы смиренно погребенной в тихих долинах нашего полудикого Эпира... Боюсь, что классические мраморы древних эллинских Пропилей, от соседства которых ваша современная афинская жизнь все-таки не становится ни пышнее, ни изящнее, боюсь, что эти вечные мраморы угасили в тебе всякую искру любви к иным проявлениям греческого духа, к тем суровым и вместе восторженным примерам, которых сияло столько и в цирках языческих царей, и в тюрьмах византийских еретиков-гонителей, и под грозой сарацинской, и под страхом еще недавней турецкой кровожадности, под страхом необузданного своеволия надменных наместников султана!..

Икона нашего эпирского святого ходатая за нас бедных и грешных у престола Господня пишется по обычаю так: молодой паликар, в обыкновенной арнаутской одежде, в белой фустанелле и феске, покрытый *багряным* плащом, означающим его мужество, его царственную заслугу пред церковью христианской, стоит держа в правой руке крест, а в левой *пальму* страдания. Рядом с ним, на каменной стене, повешен полуобнаженный его же труп с глубокою раной в груди, источающей кровь. На небе дальнейшее сияние...

Я желал бы, чтобы когда-нибудь мою загорскую родную комнату украсила бы подобная икона того изящного русского искусства, которое нам, грекам, так нравится и которое умеет сочетать так трогательно для верующего прелестную идеальность византийских орнаментов, золотое поле, усеянное матовыми цветами и узорами, с естественностью лика; сочетать выражение живое, теплое, близкое нам, одежду и складки, полные правды, с вековой неподвижностью позы, с нерушимыми правилами предания и церковного нашего вкуса, которому так чужд и хладен кажется разнузданный идеал итальянских церковных картин... Я первый... не скажу,

сознаюсь, о, нет!.. я с радостью и гордостью скажу тебе, что я могу любоваться на картину Делароша или Рафаэля, я могу восхищаться ими. Но молиться я могу лишь на *икону*, какова бы она ни была, – бедной ли и мрачной нашей греческой работы, или русской кисти, в одно время и щегольской, и благочестивой, и веселой, и строгой.

Такой бы кисти дорожую икону нашего святого эпирота я желал бы повесить в моем загорском жилище, чтобы молиться пред нею по вечерам, когда стариком сподобит меня Господь Бог провести на родине хоть десять или двадцать последних лет пред страшным и неизбежным концом...

Св. Георгий жил в тридцатых годах нашего века и был еще молод, когда смерть постигла его неожиданно. Он долго служил *сеисом*²⁸ у богатых турок. Турки его любили за его тихий и серьезный нрав.

В Янине один ходжа, увидав раз, что он исполняет христианские обряды, по злобе (а может быть и по ошибке) обвинил его в том, что он не христианин от рождения, но мусульманин, изменивший исламу. Георгий еще накануне был смущен предчувствием и, ужиная вечером с семьей, встал вдруг из-за стола и, воскликнув печально, что судьба его скоро свершится, вышел вон.

В стране тогда царствовал ужасный беспорядок. Паша был бессмыслен и жесток. Георгия судили; убеждали и лаской, и угрозами отречься от Христа, заключали в тюрьму, били, давили ему грудь большим камнем, наконец, повесили и приставили к телу стражу. Один из низамов осмелился из кощунства выстрелить в висящий труп мученика; но внезапный свет, который разлился вокруг священного тела, привел и его самого и всех товарищей его в такой ужас, что они покинули свой пост, бежали оттуда и клялись начальству своему, что этот убитый человек свят и угоден Богу...

В маленькой церкви на дворе митрополии стоит его высокая мраморная гробница. Над нею, на стене изображены суд и страдания святого.

И когда видишь на этих простых и неискусных картинах столько правды, когда видишь молодого сеиса, одетого не в хитон или древнюю тогу, а в ту самую одежду, в которой тут же стоят и молятся и янинские и сельские наши люди, когда видишь, что солдаты турецкие, которые кладут тяжелый камень на грудь герою веры и стреляют в его удушенный труп, тоже одеты в нынешнюю европейскую, низамскую одежду, когда смотришь на все это внимательно, тогда действие на душу христианина становится еще живее и глубже... Видишь тогда и чувствуешь ясно, что для великих примеров нет нам, грекам, нужды обращаться к векам Диоклетиана или первых сарацинских нашествий; и что вчерашний день нашей Восточной церкви так же велик, как и глубокая древность.

Мы приложились к мраморной раке и отслужили *пαραклис*²⁹ за здоровье наше и всей семьи.

Белый домик, в котором живет почти у выезда из города сын святого, так и зовется домик св. Георгия. Он не очень мал и не стар с виду. Покои его чисты и просторны; диваны турецкие в приемной покрыты простым и толстым льняным полотном домашней работы, белым с голубыми полосками. Одна большая комната увешана иконами и лампадами, как церковь; в нее, так же как и в придел митрополии, заходят люди вспомнить о мученике и помолиться и жертвуют что-нибудь на свечи и масло для лампад; частью, вероятно, и на нужды семьи. Хозяин и молодая стыдливая красавица, жена его, приняли нас с великим почтением и лаской. Мы молились и пили у них кофе. Мне очень понравилось у них все; но отец мой думал иначе.

Вышедши из дома на улицу, он с сожалением сказал мне:

²⁸ *Сеис* – конюх, кучер.

²⁹ *Параклис* – придел; но употребляется обыкновенно и в смысле молебна.

– Если бы меня сподобил Бог родиться сыном святого или мученика, я бы никогда не женился, а постригся бы смолоду в иноки и жил бы один или с почтенным старцем каким-либо в этом доме. Так было бы гораздо пристойнее!

Подумав и я согласился, что отец был прав.

Все эти воспоминания кровавых событий, вид всех этих мест, еще хранящих столько живых и неостывших следов прежнего порядка, были бы, конечно, страшны, если бы думать о них глубоко; и точно, позднее я не раз, вспоминая о первых прогулках моих с отцом по Янине, содрогался и снова благословлял Россию, которая победами своими смирила гордость турок и достигла того, что с ними теперь не только можно жить, но и любить их можно иногда сердечно; ибо до тех пор, пока не возбуждено в них религиозное чувство до исступления, до пожирающего пламени, они добры, уступчивы, великодушны, ласковы...

Я готов сознаться, что многие из них по прекрасным свойствам души, по доброте и милосердию стоят гораздо выше нас... Если бы ты был иностранец, я бы не сказал тебе этого; но зачем я буду скрывать правду от грека?

Все это, и хорошее и худое про турок, я обдумал гораздо позднее... А тогда я, гуляя с отцом по городу, смотрел на все то рассеянно, то внимательно; слушал рассказы про Али-пашу, про столькия убийства, грабежи, про все эти войны, набеги и казни; но слушал так, как будто бы я читал занимательную книгу. Особенного страха я не чувствовал даже и на улице. Мы встречали довольно много ходжей в чалмах и янинских беев с суровыми выразительными глазами: я взглядывал на них и робко, и внимательно, мгновенный страх овладевал мною; но отец шептал мне, что все янинские турки потому и фанатики, что их мало, что греков много, что граница свободной Жады близка, и гордость сменила в моем сердце тотчас минутное это движение страха. Встречались нам солдаты целыми партиями: они шли, тяжело ступая по мостовой и бряцая доспехами; отец провожал их полунасмешливо глазами и говорил: «Как мало у них здесь войска, у бедных!» И мы шли спокойно дальше; встречались чиновные турки; мы им почтительно уступали дорогу, и некоторые из них нам вежливо кланялись.

Чего ж мне больше? Что мне нужно? Живи, Одиссей, веселись, мой бедный, и будь покоен!

И что я буду делать против турок, чтобы мне так бояться их? Уступить дорогу я с радостью всегда уступаю; поклониться им не трудно... На войну против них я никогда не решусь идти, думал я, избави Боже... И где война? Где казни? Где ужасы? Где кровь? Город попрежнему, как в первый день приезда нашего, все так же тих и мирен; предместья его все в садах веселых; за предместьями, в обе стороны, так кротко зеленеет узкая и длинная долина... Осенние дни ясны и теплы. Люди все спокойно заняты работой и делами; греков так много, и между ними столько отважных молодцов; у стольких в доме есть оружие, у стольких за поясом или в обуви спрятан острый нож; турок меньше; синие горы свободных эллинских пределов близки... И еще ближе веет над высокою каменною стеной трехцветный русский флаг...

Благов! Благов, мой милый! О, мой молодчик! Где ты? Возвратись скорей, мой молодой и красивый эффенди! У тебя в доме, под сенью русского орла, я не боялся бы и самого грозного султана! Я не ужаснулся бы и его царского гнева под твоею защитой!

IV.

Г. Благов все еще не возвращался, и скоро мы получили известие, что он уехал в Македонию для свидания с другим консулом русским, и неизвестно, когда возвратится. «Посмотрим, что задумала еще Россия?» говорили люди. «Прежде она все с обнаженным мечом над Турцией стояла, а теперь за развалинами Севастопольскими прилегла и в подзорную трубку смотрит».

Первые дни мы, по старому обычаю, принимали посещения, сидя дома с раннего утра, а потом отдавали их.

Много перебывало у нас разных людей за эти дни, и больших и простых людей. Приезжал сам митрополит, архонты, были доктора, священники, монахи, учителя, ремесленники разные, были даже некоторые турки и евреи, которые знали давно отца.

Отец всех принимал хорошо, сажал, угощал; иных, кто был выше званием или богатством, он провожал до самой улицы.

Я же всем этим посетителям, без различия веры и звания, прислуживал сам, подносил варенье с водой и кофе, чубуки подавал и сигарки им делал. Чубуки, конечно, предлагали только самым высшим по званию, а другим сигарки.

Все меня поздравляли с приездом, приветствовали, хвалили и благословляли на долгую жизнь и всякие успехи.

«Мы тебя теперь, Одиссей, яниотом нашим сделаем», говорили мне все. Так меня все одобряли, и я уже под конец стал меньше стыдиться людей. Вижу, все меня хвалят и ласкают.

Доктор иногда выходил к гостям; но большею частью он уходил утром из дома к больным, чтобы показать, что не к нему гости, а к отцу моему приходят, и что он это знает.

Взойдет иногда на минуту в гостиную, посмотрит на всех в лорнет, поклонится, высокую шляпу свою венскую тут же наденет и уйдет, только бровями подергивает.

Ненавидел он яниотов.

Гайдуша была во все это время очень гостеприимна, помогала мне служить гостям, ничего не жалела для угощения. Когда я просил у неё: «Еще, кира Гайдуша, одолжите по доброте вашей кофе на пять чашечек». Она отвечала: «И на десять, дитя мое, и на двадцать, паликар прекрасный».

Так она была гостеприимна и ласкова, что я уже под конец недели перестал ее почти и ламией³⁰ звать.

Видел я довольно многих турок за это время.

Видел я и самого Абдурраим-эффенди, о котором так часто говорил Коэвино; он приходил не к отцу, а к своему другу доктору. Наружность у него была очень важная, повелительная; худое лицо его мне показалось строгим, и хотя доктор клялся, что он добрейший человек, я все-таки нашел, что обращение его с отцом моим было уже слишком гордо.

Доктор представил ему отца, как своего старого знакомого; бей сидел в эту минуту с ногами на диване, завернувшись в длинную кунью шубку, и с важною благосклонностью взглянул в сторону отца. Отец подошел к нему поспешно, согнувшись из почтительности, и коснулся концами пальцев руки, которую бей чуть-чуть ему протянул, даже и не шевелясь с места.

Я заметил еще, что Абдурраим-эффенди как будто бы брезгливо отдернул и отряхнул те пальцы, к которым отец прикоснулся.

Когда отец говорил потом что-нибудь очень почтительно, бей выслушивал его как будто бы и вежливо, но почти не отвечал ему, а смотрел с небольшим удивлением, как будто спрашивая: «А! и этот деревенский старый райя тоже говорит что-то?»

³⁰ Ламия – ведьма, съедающая иногда молодых людей.

Он даже иногда слегка улыбался отцу; но обращался тотчас же к доктору и говоря с ним становился весел и свободен, как равный с равным.

Искренно ли или лицемерно, но отец хвалил бея за глаза; но я не мог долго простить ему это надменное обращение с бедным моим родителем и со злобною завистью дивился, почему он оказывает такое предпочтение безумному Коэвино?

Гораздо приятнее было для меня знакомство со старым ходжей Сефер-эффенди.

Вот был истинно добрый турок, почтенный, простодушный и забавный. Нос у него был преогромный и красный; чалма зеленая; борода длинная, белая; руки уж немного тряслись, и ступал он не очень твердо ногами, но глаза его были еще живые и блистали иногда как искры. Все он шутил и смеялся. Знаком он был с отцом моим давно.

В ту минуту, когда он пришел к нам, ни отца, ни доктора не было дома. Мы с Гайдушей его приняли и просили подождать; я сам подал ему варенье и кофе. Он спросил меня, знаю ли я по-турецки? Я сказал, что на Дунае, когда был мал, недурно знал, но что здесь, в Эпире, немного забыл.

Сефер-бей, все улыбаясь, смотрел на меня пристально и долго не пускал от себя с подносом, долго собирался на это ответить мне что-то; думал, думал и сказал, наконец, по-турецки:

– Видишь, дитя, никогда не говори, что ты знал хорошо по-турецки! Слушай. Арабский язык – древность, персидский – сахар, а турецкий – великий труд! Понимаешь?

Я сказал, что понимаю. Старик тогда без ума обрадовался и хохотал.

Я хотел унести поднос; но ходжа схватил поднос за край рукою и спросил:

– Знаешь ли, дитя мое, кто был Саади?

Я сказал, что не знаю и не слышал.

– Саади, дитя, был стихотворец, – продолжал Сефер-эффенди, одушевляясь. – Вот что он сказал про тебя, мой сын: «Этот кипарис прямой и стройный предстал пред мои очи; он похитил мое сердце и поверг его к стопам своим. Я подобен змее с раздавленной головой и не могу более двигаться... Этот юноша прекрасен; взгляни, даже когда он гневается, как приятна эта строгая черта между его бровями!» А Гоммам-Эддин, другой стихотворец, сказал иные слова, про тебя же: «Одним взглядом ты можешь устроить наши дела; но ты не желаешь облегчать страдания несчастных». Это что значит, мой сын? Это значит, что ты должен всегда оставаться добродетельным!

Я от этих неожиданных похвал и советов его так застыдился, что ушел в другую комнату и, услышав, что Гайдуша вслед мне смеется громко (она без церемоний села и беседовала с ходжей), еще больше растерялся и не знал уже, что делать. Слышал только, что Гайдуша сказала турку:

– Да, он у нас картиночка писаная, наш молодчик загорский, как девочка нежный и красивый. А глаза, ходжа эффенди мой, у него, как сливы черные и большие. На мать свою он похож.

– Это счастливый сын, я слышал, который на мать похож, – отвечал старик.

Сознаюсь, что хотя я и стыдился, а похвалы эти мне были... ах, как приятны!

Понравился мне также тот молодой чиновник Сабри-бей, который показывал нам в конаке залу Али-паши.

Ничего в нем не было страшного или грубого. Такой тихий, ласковый, с отцом моим почтительный, руку все к сердцу: «эффендим, эффендим!» Собою хоть и не особенно красивый, но такой высокенький, худенький, приятный, с усиками небольшими. По-французски он говорил свободно; а когда он начинал говорить по-турецки, языком высоким, литературным, то это было просто очарование его слушать; гармония и сладость!

– Эффендим! – говорил он отцу моему вкрадчиво, сидя у нас, – прошли времена мрака и варварства, и мы надеемся, что все подданные султана будут наслаждаться совокупно и в несказанном блаженстве равенством и свободой, под отеческою и премудрою властью!

– Есть еще, увы! многое, многое, эффенди мой, достойное сожаления и жалоб, – сказал ему отец.

– Эффенди мой, кто этого не видит! – возразил Сабри-бей с достоинством. – Но справедливо говорят французы: «Les jours se suivent, mais ne se ressemblent pas!» Постепенно и неспешно все изменяется! Все, решительно все, верьте мне! И еще древний латинянин сказал: спешит медленно. И сверх того, прошу у вас прощения, сказал и другое хорошее слово француз: «Tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles».

Я, слыша это, вышел в другую комнату и воскликнул сам с собою: «Нет, действительно турки сильно идут вперед! Так что это для нас даже невыгодно! Истинно сказано: «пути Провидения неисповедимы!» И я печально задумался с подносом в руке.

В эту минуту на лестнице раздался страшный, дикий рев и крик; рев этот не походил ни на визг Гайдуши в гневе, ни на восторженные клики Коэвино. Я вскочил с испугом и встретился вдруг лицом к лицу со страшным человеком. Это был дервиш. Смуглый, нисенький и седой, в высоком остром колпаке набекрень, в длинной одежде и с огромною алебардой в руке.

Взгляд его был ужасно грозен, и на одном виске его под колпак был всунут большой букет свежих цветов.

– Га! га! – кричал он, – га-га!

Не знаю, как даже изобразить тебе на бумаге его ужасный крик и рев! Я совсем растерялся и не знал, что подумать, не только что сделать. Варвар, однако, шел прямо на меня с алебардой и сверкая очами. Поравнявшись со мной, он не останавливаясь поднес свою руку к моим губам; и я поспешил поцеловать ее, радуясь, что не случилось со мной ничего худшего. Отец в эту минуту приподнял занавес на дверях и воскликнул как будто с радостью:

– Bravo! bravo! Добро пожаловать, ходжи-Баба. Жив ты еще? Милости просим, дедушка Сулейман!

Ходжи-Сулейман не обратил на слова отца никакого внимания, движением руки отстранил его от дверей, прошел через всю комнату, едва взглянув на Сабри-бея, и важно сел на диване, потом уже сидя он осчастливил всех по очереди и небольшим поклоном. Отец подал мне знак, и я принес старику варенье и кофе (страх мой уже прошел и сменился любопытством). Сабри-бей с презрительною усмешкой спросил тогда у дервиша: «Как его здоровье?»

– Лучше твоего, дурак, негодяй, рога носец! – отвечал старик спокойно.

Мы засмеялись.

– Мне сто двадцать лет, – продолжал ходжи, – а я скорей тебя могу содержать по закону четырех жен, дурак, негодяй ты ничтожный.

– Отчего ж у тебя одна теперь только жена, да и та черная арабка? – спросил бей, не сердясь за его брань.

Старик молча показал пальцами, что денег мало, вздохнул и стал молиться на образ Божией Матери, который был подарен доктору г. Благовым и висел в гостиной на стене.

Он молился вполголоса в нос и нараспев, поднимая руки и глаза к небу, и я только слышал раз или два: «Мариам, Мариам».

Потом он сошел с дивана и, не кланяясь никому, опять важно, величественно, тихо пошел к дверям и лестнице. Мы с отцом и Гайдушей проводили его в сени.

– Прощай, ходжи, прощай, дедушка, – говорил ему отец. – Не забывай нас, заходи.

Ходжи-Сулейман, не обращаясь и не отвечая, шел к лестнице медленно и гордо, но как только коснулся он босой ногой своей первой ступени, так вдруг побежал вниз, помчался с лестницы вихрем как дитя или легкая птичка какая-то! Даже стука не было слышно от его босых ног.

Это было так неожиданно и забавно, что не только мы с Гайдушей смеялись от всего сердца, но и отец долго без улыбки не мог этого вспомнить.

Возвратившись в приемную, отец рассказал Сабри-бею о выходке столетнего дервиша и дивился его здоровью и легкости его движений. Но Сабри отозвался о старике очень дурно.

– Нехороший человек, – сказал он. – Злой человек. Теперь он не может ничего сделать; но знаете ли вы, какой он был прежде фанатак и злодей? Я знаю о нем много худого. Ему точно, что более ста лет; отец мой и многие другие турки издавна помнят его почти таким же, каков он теперь на вид. Но поведение его было иное. Когда в двадцать первом году была война с эллинами, он, знаете ли вы, что делал? Он пил кровь убитых греков и выкалывал пленным христианам глаза. Ужас! Я, эффенди мой, к таким свирепым людям питаю отвращение, какой бы веры и нации они ни были. Это ужасно, эффенди мой, мы в дом отца моего никогда его не принимаем, и потому он меня так бранит, как вы слышали.

– Времена такие были тогда жестокия, эффенди мой, – сказал вздохнув отец. – Будем надеяться, что подобные сцены не повторятся больше никогда.

Сабри-бей заметил еще, что иные турки все прощают ходжи-Сулейману и считают его как бы святым; «но я, сказал он, презираю подобные заблуждения!»

Потом он простился с нами и сказал отцу:

– Я, эффенди мой, слуга ваш во всяком деле; если вам и вашему сыну нужно что-нибудь у паши, господина нашего, обратитесь ко мне, и я всегда буду готов, хоть сила моя и звание еще невелики.

Отец с тысячами благодарений и благословений проводил его вниз с лестницы, не без труда однако; бей часто останавливался, умоляя отца не утруждаться для него и не делать ему столько незаслуженной чести; отец отвечал ему всякий раз: «это долг мой». А бей: «благодарю вас». И через три или четыре ступени они повторяли опять то же самое.

Я глядя на них думал: «Вот вежливость! Вот примеры, которые подают нам... И кто же? турки». И дивился. Скоро я узнал и другие подробности о Сабри-бее.

Рауф-паша, который в то время управлял Эпиром, был человек не злой, не жестокий, не фанатик, но зато и неспособный, слабый человек. Самая наружность его, ничуть не видная и ничем не замечательная, соответствовала его ничтожеству. В молодости он был военным и имел две раны от русских пуль в руке. Но и на войне распорядительностью он не славился. Он старался не притеснять народ, сколько мог, по крайней мере, явно не оскорблял никого; охотно готов был защитить иногда христиан от нападков и обид, которые в некоторых случаях желали бы им делать янинские турки; но тяжёлыми, даже административными делами занимался слишком неспешно и неохотно. Любимым занятием его была турецкая археология. По смерти его осталась любопытная книга о турецких старинных одеждах, с очень хорошими раскрашенными картинками, которые он заказывал в Париже. Книга эта была издана на двух языках, на французском и турецком.

Это занятие было его отрадой в старости и недугах; ибо бедный старик часто болел. Всем тем людям, которых он хоть немного любил или уважал, он показывал картины, рисованные акварелью по его заказу в Константинополе, и объяснял подробно, как изменялись моды со времен Османа Гази до султана Махмуда; объяснял, что с течением времени для каждого звания, чина и занятия определялась особая одежда вместе с особыми правами; что ни великий визирь, ни рейс-эффенди³¹ чалмы не носили, а имели высокие конические шапки, подобные шапкам дервишей – Мевлеви; рассказывал, как самые фасоны чалмы у султанов менялись с течением времени, и почему он находит, что красивее всех была чалма султана Селима III, который и сам был первейший красавец...

В делах же им самим правил диван-эффендиси³² Ибрагим-бей, его зять.

³¹ *Рейс-эффенди* – министр иностранных дел.

³² Это происходило еще до учреждения вилайетов и новых должностей.

Гайдуша, которая знала все на свете, рассказывала нам о том, как женился Ибрагим-бей на дочери Рауф-паши. Она была в большой дружбе с арабкой, служанкой Ибрагима, и от неё узнавала все, что ей было угодно.

Рауф в то время, когда в первый раз встретил Ибрагима, не был еще пашою, но занимал уже значительную и выгодную должность. Он приехал на короткое время в Стамбул. Там, однажды, пришел к нему по делу отца своего молодой мальчик турок, софта³³. Ему было всего пятнадцать лет. Рауф-эффенди в эту минуту был голоден, и дом его был далеко от той канцелярии, в которой он сидел. Он обратился к другим туркам, сидевшим с ним, и сказал: «Знаете ли, что я бы дорого дал теперь за простую головку свежего луку и за кусок хлеба!»

Не успел он произнести эти слова, как маленький и умный софта Ибрагим достал из кармана своего головку луку и большой кусок хлеба, завернутый в чистую бумагу; вынул ножик, разрезал лук, положил его на хлеб и с низким поклоном поднес его Рауф-эффенди. Рауф-эффенди воскликнул: «Вот ум!» приласкал Ибрагима, дал ему денег, устроил очень скоро дело его отца и взял его потом к себе. Отец Ибрагима был беден, детей имел много и сказал Рауфу: «Господин мой! У меня есть другие дети. Ибрагим больше не принадлежит мне. Он твой. Хочешь иметь его сыном, воля твоя; хочешь иметь его рабом последним, и на то твоя воля».

Рауф-эффенди скоро стал пашою. Мальчик подавал ему долго чубуки и наргиле и вместе с тем переписывал ему разные бумаги и письма, прилежно читал и учился, исполнял всякие поручения. Рауф-паша, хотя и держал его более как сына, чем как слугу, но Ибрагим сам старался служить ему, и когда Рауф возвращался усталый домой, Ибрагим не позволял черному рабу снимать с него сапоги. «Ты не умеешь!» говорил он, бросался на колени сам перед Рауфом и снимал с покровителя своего сапоги так ловко, так нежно дергал чулки за носок, чтоб они отстали от разгоряченных и усталых подошв, так хорошо надевал туфли, что Рауф-паша говорил за глаза про него с наслаждением: «Не видал я еще человека, который бы так сладко снимал сапоги, как этот маленький Ибрагим!»

И наргиле, раскуренный милым Ибрагимом, и чубук, набитый им, и кофе, поданный иногда им с умильным взглядом и поклоном, казались для Рауфа-паши слаще, чем наргиле и чубук и кофе, поданные другим кем-нибудь, и бумага, написанная Ибрагимом, была всегда для Рауфа умнее и красивее, чем бумага, написанная другим писарем.

Между тем у Рауфа-паши росла единственная дочь. Она была немного моложе Ибрагима. Ростом она была высока и стройна; имела большие и красивые глаза, но лицо её было немножко рябовато. Скоро она уже перешла за те года, в которые вообще и христианки и мусульманские девушки выходят замуж; ей было уже около двадцати лет. Рауф-паша был богат, дочь была единственная, он прочил ее за Ибрагима и не торопился сватать ее.

Однажды паша призвал дочь и сказал ей: «Пора тебя замуж отдать». Потом он повел ее в одну комнату, из которой было окошко в другое жилье, закрытое занавеской. Он поднял занавеску и сказал: «Смотри, вот тебе муж». В той комнате, на диване, сидел Ибрагим и читал книгу. Ему тогда было двадцать два года. Он был очень бел, черноок и чернобров, но слишком бледен и худ. Дочь паши, живя с ним в одном доме, хотя и на разных половинах, конечно, не раз видала его и прежде. Турчанки все видят и знают все то, что им нужно или хочется знать. Она отвернулась с досадой и сказала: «заиф-дер» (слишком слаб, нежен или худ). Паша возразил ей на это: «Он еще почти дитя. С годами пополнеет. Ты богата и отец твой паша; если я отдам тебя за сына паши или бея богатого, что будет? Бог один знает. Может быть он уважать тебя не станет и всякое зло ты от него увидишь. Я стар и умру: кто защитит тебя? Ибрагима же мы нашего знаем, и он будет вечные молитвы Богу воссылать за счастье, которое Он в тебе ему послал!»

³³ Студент мусульманского богословия.

Дочь согласилась тогда, и таким образом Ибрагим стал зятем паши, стал беом. Предсказания отца сбылись. Ибрагим очень пополнил, и так как ростом он был всегда высок, то самолюбивой жене теперь на наружность его жаловаться нельзя. Она смело может любоваться им из-за решеток своего окна, когда он едет верхом по улице, окруженный пешими слугами; и я любовался на него; вскоре после приезда нашего в Янину я встретил его на Крепостном мосту. Лошадь под ним была сытая и прекрасная, сам он был дороден и красив, бурнус на нем был хороший, из тонкого сукна, с башлыком и кистями. Лошадь слегка играла под ним, медленно и гордо выступая. Я позавидовал.

Заняв при тесте своем должность «диван-эффендис», Ибрагим-бей, к сожалению, стал слишком горд и заносчив. Он обращался с богатыми и почтенными христианами гораздо суше и надменнее, чем простой и опытный паша, его тесть; бедных нередко и бил своею рукой в самом конаке. Он полюбил роскошь; держал много слуг и лошадей, купил карету, которая по нашим горным дорогам вовсе не могла проехать и ее от морского берега до Янины, на половину разобранную, несли носильщики на плечах за огромную цену. Сам он щеголял; двоих мальчиков своих он одевал в бурнусы из черного сукна, расшитые золотом: ковры дорогие заказывал, бесценные коврики, шитые золотом по атласу, для праздничной молитвы в мечетях при параде; заказывал много вещей серебряных, нашей тонкой янинской работы.

Отцу моему (которому все это необходимо было знать для его дел) приятели скоро объяснили, что Рауф-паша сам взятки не берет в руки, но что берет их иногда диван-эффенди, а иногда тот самый Сабри-бей, который так пленил меня своею образованностью. Они делятся оба потом с пашою. Ибрагим-бей был по-восточному очень образован и писал даже хорошие турецкие стихи, но европейских языков не знал ни он, ни паша. Поэтому Сабри-бей был им обоим очень нужен; Сабри знал хорошо по-французски и по-гречески; почти все дела иностранных подданных или шли через его руки, или, по крайней мере, не обходились без его влияния. Все ноты и отношения консулам, которые часто писались по-французски, сочинял Сабри-бей; почти все переводы на турецкий язык делал он. И сверх того, он своею уклончивостью и вкрадчивостью достигал нередко большего, чем зять паши своею гордостью и гневом. Зять паши на людей простых, нередко, как я сказал уж, поднимал руку в самом канаке; Сабри-бей никогда никого не бил. Зять паши, кроме митрополита и двух или трех самых важных старшин, никому из христиан визитов не делал и не платил. Сабри-бей знакомился со всеми. В самых простых речах и обычных восклицаниях между ними была большая разница; и тот и другой в разговоре обращались нередко к собеседнику со словом: «эффендим!» (господин мой!), но как говорил один и как произносил это слово другой!

«Эффендим!» говорил Сабри-бей, и взгляд его был льстив; он прикладывал руку к сердцу, он улыбаясь как будто говорил тебе: «О! как я счастлив, что я с вами знаком и могу от души назвать вас «господин мой!»»

«Будь счастлив ты, несчастный, говорил, казалось, другой, что я так благосклонен и вежлив с тобою, и помни крепко, что только известная всем моя вежливость вынуждает меня говорить тебе «господин мой!» «Эффендим!» эффендим! Да! А поза надменная на софе, взгляд, движенье руки повелительное, все говорило у Ибрагима: «Я твой эффенди, глупец, а не ты, несчастный!»

Сабри-бей был принят хорошо во всех консульствах; а зять паши ни к кому из консулов не ехал, претендуя неслыханно, чтоб они первые его посетили. Один только Благов, который любил турок и хотел между ними быть популярным, был знаком с Ибрагимом. Благов, под предлогом спешного дела, зашел однажды сам, выходя от паши, в канцелярию диван-эффенди и посидел там пять минут; Ибрагим-бей был тронут этим и чрез несколько дней приехал торжественно в консульство русское и пробыл у Благова больше часа.

Сабри-бей был приятель со всеми; он не пренебрегал ни евреями, ни греками, и от этого нередко получал от них деньги и подарки тайком от паши и его зятя, и, как слышно было, в таком случае уже не делился с ними.

Он и с отцом моим поступил очень вежливо. Через два дня, не более, после того, как отец мой был у него в конаке, Сабри-бей пришел к доктору в дом и сказал отцу, что хотя он с доктором и давно знаком и любит его, как прекрасного человека, но что при этом посещении имел в виду именно моего отца.

На другой же день после этого визита я утром увидел, что отец торгует ковры в сенях у одной женщины. Он купил у неё, наконец, большой меццовский ковер в семь лир турецких, прекрасный, белый с пестрыми восточными узорами.

Потом, когда стемнело, он приказал мне взять носильщика, отнести ковер, аккуратно его свернув и прикрыв, к Сабри-бею на дом и сказать ему так:

– Отец мой кланяется, бей эффенди мой, вашей всеславно³⁴ и спрашивает о дорогом для него вашем здоровье. Он слышал, что вы хвалите ковры здешней меццовской работы, и просит вас принять этот ковер, который был у нас уже давно, но лежал сохранно без употребления, и потому он как новый. Он просит также извинения, что скромное приношение это не сообразно с добротой вашей и ценности большой не имеет. Но отец мой желал бы, чтобы вы сохранили его на память об Эпире и о тех людях, которых вы осчастливили вашей дружбой».

– Понимаешь? – прибавил отец шепотом и тонко взглядывая на меня.

Как не понимать. Конечно понимаю я все, как следует понимать греку загорскому.

Г. Благов посмеялся бы вероятно опять над нашею риторикой, если б он слышал наш разговор, но мне такая возвышенная речь отца моего была как раз по душе. Я и не спросил даже, почему и зачем ковер нарочно купленный был назван давнишним: я сейчас понял, что гораздо вежливее именно так сказать бею, понял, какой в этом есть чувствительный оттенок, и поспешил к Сабри-бею.

Молодой турок принял меня почти с восторгом, как бы младшего брата.

– Садись, прекрасный юноша, садись!

И ударил в ладоши, чтобы принесли мне сигары и кофе.

Я встал тогда, велел внести ковер, сам ловко раскинул его пред бею по полу и начал было мою речь.

«Напрасно говорил Несториди, думал я про себя в то же время, что я не хитер, не мошенник, не купец. Вот как и мудрые люди ошибаются иногда! Чем я не купец? Чем я не мошенник? Я все могу!»

Сабри-бей, увидав прекрасный белый ковер наш, представился изумленным и спрашивал почти с неудовольствием:

– Чтó такое это? Зачем, скажите, такое беспокойство?

Но я продолжал речь мою твердо и, воодушевляясь, прибавил в нее еще несколько моих собственных цветов, например: «на память об Эпире, которого жители, с своей стороны, никогда не забудут отеческого управления Рауф-паши и его благородных помощников!»

Взор Сабри-бея становился все приятнее и приятнее, улыбка радости сменила на лице его выражение притворной досады; он взял меня за руку и сказал:

– Ковер этот будет мне столь же дорог, сколько мог быть дорог подарок родного отца моего. Так скажи, друг мой, от меня родителю твоему.

Я с восхищением поспешил домой.

Осудить мне Сабри-бея за взятку тогда и на ум не приходило. Я не задавал себе вопроса: «следует ли брать или нет, когда хорошие люди дают?» Я и не подозревал даже, что такой вопрос возможен. И если бы тогда у меня кто-нибудь спросил, я бы отвечал: «это не взятка,

³⁴ *Всеславность*, *эндоксѳитис* – титул, даваемый по-гречески беям; это ниже чем *экзохѳитис* – превосходительство.

не лихоимство несправедливого судьи; это дар, это искреннее приношение дружбы, в надежде на будущее защитничество, в надежде на будущий труд ласкового и образованного чиновника». Что же тут худого?

Таково было мое первое знакомство с турками в Янине.

Ты видишь, что оно не было ни страшно, ни особенно печально или оскорбительно.

V.

Из христиан, я сказал уже тебе прежде, у отца моего было в Янине много старых знакомых; с другими он познакомился в этот приезд; и нас посетили многие из них тотчас по приезде нашем, и мы были у многих. Архонтов настоящих янинских, природных яниотов, напыщенных своим городским происхождением, и многих богатых загорцев, фессалийцев, живших в Янине, я видел за эти две-три недели или у них самих, или у нас, или в церкви, или в приемной преосвященного Анфима янинского, или на улице. Видел старого предателя Стерио Влахопуло, которого все боялись и которому все кланялись. Не задолго еще пред нашим приездом он помешал достроить здание для училища в родном своем городе, уверив турок, что это училище только для вида, а в самом деле будет боевым пунктом, зданием, из которого христианам легче будет в случае восстания поражать низамов, заключенных в маленькой цитадели. Мне показали также и одного загорского патриота нашего, который так был строг и скуп для себя и для домашних своих, что жена его иногда не могла подать без него варенья и кофе гостям; ибо он и ей не всегда доверял ключи от провизии. Но этот скупой человек жертвовал сотни лир на учреждение эллинских школ в Загорах, на починку наших сельских дорог и мостов. Видеть обоих этих людей было очень поучительно. Загорец был скуп для себя и для всех людей, но щедр для отчизны. Влахопуло был предатель отчизны своей, особенно когда его раздражали люди сильные противной ему партии, но зато он был нередко добр и щедр к людям бедным, ко всем тем, кто не мог или не хотел бороться против его влияния.

Прежде всех других знакомцев посетил отца моего его давнишний приятель и сверстник, загорец Чувалиди, который был тогда уже председателем янинского торгового суда. Про него мне еще дорогой, подъезжая к городу, отец сказал, что он далеко превзойдет в хитрости и даже в мошенничестве самого тульчинского болгарина Петраки Стояновича. Я не помню, писал ли я тебе тогда о нем подробно? я не держу черновых тетрадей, когда пишу к тебе, мой друг. Если я повторяюсь, прости мне. Чувалиди был беден и вдруг сделался богат; он был сначала скромным учителем, потом стал на время неважным купцом; потом он скрылся из Эпира и вот вернулся теперь, в триумфе, председателем торгового суда, вернулся чиновником Порты, – таким чиновником, который может бороться с консулами и с которым самим пашам нередко надо считаться! Все это чудо совершилось вот как. Один соотчич Чувалиди, загорский односелец его и добрый патриот, доверил ему отвезти на родину 400 лир золотых для наших общественных нужд. Чувалиди ехал под вечер горами. С ним были слуги и турецкий жандарм.

– Мне дурно что-то, молодцы! – сказал он им, вдруг останавливая мула. – Поезжайте вы вперед тихо; я слезу и помочу здесь у ручья голову мою водой. – Люди удалились. Не прошло и десяти минут, как Чувалиди внезапно выбежал из-за скалы, расстерзанный, без фески, с ужасным выражением в лице и голосе, стал звать людей и кричать: «Стреляйте, ловите! Разбойники!.. Сюда! сюда!..» Когда люди подъехали, Чувалиди сказал им, что уже поздно, что разбойников было всего двое и что они скрылись в скалах неизвестно в какую сторону. Он подробно описывал их приметы и объявил, что его ограбили... «Не своих денег мне жалко! – прибавил он почти со слезами: – мне жалко тех 400 лир, которые я вез для общественных нужд!»

Ты скажешь: это невероятное бесстыдство; ты может быть не поверишь этой молве; однако так все говорят об этом деле у нас и все знают, что Чувалиди скоро после этого стал торговать и богатеть; потом прожил несколько времени в Константинополе, поступил там на царскую службу и возвратился на родину, как я сказал, в триумфе и почете, важным чиновником.

Как бы то ни было, но отца моего Чувалиди любил: – они еще с детства были дружны, и на второй же день нашего приезда я увидал, что в приемную доктора вошел какой-то чисто и

хорошо одетый человек, полный, среднего роста и приятной наружности; вошел и, простирая объятия отцу моему, воскликнул: «Йоргаки! Это ты, мой бедный Йоргаки!» Отец дружески обнял его и казалось чрезвычайно был обрадован этим посещением.

Долго сидел он у отца моего, долго они беседовали, и когда Чувалиди, наконец, ушел, отец мой провожал его до самой улицы, благодаря и еще раз обнимая его. Держал себя Чувалиди, надо сказать, с большим достоинством, говорил очень хорошо, и сам доктор, который был так скуп на похвалы грекам, сказал про него: «Очень умный человек! очень умный человек! Мало чести, но много ума, много начитанности и даже скажу остроумия... И даже скажу остроумия!» Впоследствии, как ты увидишь, Чувалиди стал почти благодетелем нашей семьи. Он поддержал нас в такие тяжелые минуты, в которые мы и от самых благородных людей не имели ни помощи, ни даже доброго совета!

Вспоминая теперь обо всех этих людях и о моей первой встрече и с ними и с жизнью вообще, вспоминая о том, что у каждого из этих людей был хоть какой-нибудь луч света среди мрака их пороков и грехов, что каждый из них хоть чем-нибудь, хоть для кого-нибудь, был иногда добр или полезен, я повторяю всегда притчу о древнем мудреце и о мертвой собаке, которая лежала на пути и на которую с отвращением плевали люди, проходя мимо.

«Не плюйте на нее и не ругайтесь над её трупом, сказал людям мудрец. Верьте, боги так устроили мир, что и у мертвой собаки этой может быть нечто хорошее и даже лучшее, чем у нас!» Сказав это, он посохом своим раскрыл ей губу и воскликнул: «Скажите, у кого из вас такие ровные, прекрасные и белые зубы, как у этой издохшей собаки?»

Я видел еще многих людей в эти дни.

Я видел и того богача Куско-бея, которого, помнишь, так разбранил и осрамил наш отчаянный доктор.

Куско-бей знал тоже отца давно. Он прислал сказать ему, что счел бы долгом побывать у него, если б отец жил не у врага его, доктора Коэвино, в доме.

Мы после этого сами пошли к нему.

Куско-бею было тогда более тридцати пяти лет; однако он был еще удивительно красив; в бороде его уже показалась седина; но черты лица его до того нежны, тонки и правильны, глаза так выразительны, что я понимаю, почему его звали смолоду Адонисом Янины. Говорят, жена одного прежнего паши была без ума влюблена в него. Она умела сочинять стихи и прислала к нему старую еврейку с маленькою бумажкой, на которой было написано по-турецки:

Я люблю одного свежего грека больше самой жизни моей.

Когда фи́га созрела, какой садовник может укрыть ее от людей?

Куско-бей и молодая турчанка видались не раз у еврейки, которой домик был близко от сада паши; стали видаться и в самом гареме. Наконец паша узнал об измене жены.

Пылая гневом, он неожиданно вечером возвратился домой; Куско-бей успел, однако, выбежать с помощью служанки в сад, перелез через стену на двор к еврейке; но, соскакивая с высокой стены, ушиб себе ногу так сильно, что и до сих пор заметно хромает.

Я заметил, что его никто не хвалил; и сам отец мой, который отзывался о людях очень осторожно и злословить не любил, и тот сказал мне про него: «Развратный человек! Не христианского поведения человек!»

Не понравилось мне также вот что у Куско-бея: этот богач, этот первый архонтъ, который скупал столько имений у турок, этот Адонис, из-за которого жены пашей подвергались опасностям, от скупости носил сюртук до того старый, что все сукно его на груди и отворотах блестело как стекло, а на рукава его было даже отвратительно взглянуть. Хотя я тогда и мало понимал еще толку в европейской одежде и, по правде сказать, всякий сюртук и пальто казались мне тогда одеждой благородства и просвещения, но все же я был не настолько слеп, чтобы не различать, что опрятно и что грязно и гадко для богатого человека!

Однако и у него впоследствии мне удалось открыть те *белые зубы*, на которые указал своим посохом древний мудрец!

Гораздо больше Куско-бея и вообще больше всех янинских архонтов понравился мне старик Бакыр-Алмаз-Бичо.

Разсуждения его о политике мне показались очень тонки и глубоки. Наружность его была почтенная, истинно архонтская, патриархальная. Ростом и видом, всем он был молодец и настоящий эффенди. Худой, сухой, бороды не носил, а только большие усы, седые, капитанские. Носил низамский однобортный черный сюртук, чистый, новый всегда и, конечно, феску, как подданный султана. Входил в комнату тихо, уходил важно, говорил не спеша; по улице ехал верхом тоже как следует архонту пожилому, шагом, на смирном и статном белом коне и с двумя слугами. Один из них нес за ним везде его собственный чубук и особый табак первого сорта.

Он (мне так показалось с первого раза) очень хорошо говорил о восточном вопросе.

– Восточный вопрос, – говорил он отцу, – подобен котлу. Котел стоит и варится!

Мне это понравилось, но несносный доктор Коэвино (я было стал соглашаться с ним насчет развратного и скупого Куско-бея, у которого уже непомерно блестел сюртук) не мог и в этом случае не раздражить меня и не оскорбить моих чувств. Он возвратился в ту минуту, когда Бакыр-Алмаз уходил от нас. Они поздоровались между собою и потом, пока почтенный архонт ехал медленно верхом через площадь, доктор долго смотрел на него в лорнет и, засмеявшись громко, вдруг воскликнул:

– О, дубина! О, добрая христианская душа! О, истукан деревянный, рассуждающий о котле восточного вопроса! Как глупы и бессмысленны все наши эти греки, все эти попытки Фукидидов и Солонов, и самих чертей, когда они говорят о политике! Ты заметь... Нет, я тебе говорю, ты заметь, какую лукавую рожу делает этот Бичо, и глаз один... о, Маккиавель! и глаз один прищурит, и палец к виску указательный приложит, когда говорит о восточном вопросе... Ха, ха, ха! «Мы дипломаты, значит нас не обманет никто!..» О, дубина! О, Валаамова ослица, одаренная словом! Заметил ты, как они рассуждают? Заболел французский консул лихорадкой. «А! Интрига! Пропаганда! Восточный вопрос!» Выздоровел русский консул от простуды. «А! демонстрация! Восточный вопрос!» Приехал австрийский консул, уехал английский. «Ба! Мы знаем мысли этого движения; от нас, греков, ничто не утаится. Мы эллины! Мы соль земли!» О, дурацкия головы! О, архонтские головы!

– Перестань, доктор, – сказал ему на это отец. – Ведь и ты архонт янинский. Все люди с весом и положением в городе зовутся по-эллински архонтами.

– Я? я? Архонт? Никогда! я могу быть бей, могу быть аристократ, могу быть, наконец, ученый. Но архонт янинский... о, нет!..

С этими словами доктор обратился к образу Божией Матери и воскликнул, простирая к нему руки, с выражением невыразимого блаженства в лице:

– О, Панагия! будь ты свидетельницей, как я был рад и как мне было лестно слышать, когда мой друг Благов говорил мне, что в Янине есть только два замечательные и занимательные человека, это – ходжи-Сулейман, дервиш, и доктор Коэвино.

– Да, да! – продолжал он потом, грозно наскაკивая то на отца, то на меня, то на Гайдушу, которая стояла у дверей. – Да, да! Я вам говорю, ходжи-Сулейман и я. Да! Один уровень – ходжи-Сулейман и я. Но только не с Бакыр-Алмазом и Куско-беем я сравню себя... Нет, нет! я вам говорю: нет, нет!

Наконец бедный отец уже и сам закричал ему в ответ:

– Хорошо! довольно! верим, дай отдохнуть!

И тогда только взволнованный доктор замолчал и несколько успокоился.

Что за несносный человек, думал я, все он судит не так, как другие люди. Никого из своих соотечественников не чтит, не уважает, не хвалит. Не зависть ли это в нем кипит при виде их богатства, их веса в Порте и митрополии, при виде их солидности? За что напал он теперь на

г. Бйчо, на человека столь почтенного? Чтб ж, разве не правда, что восточный вопрос похож на котел, который стоит и варится? Очень похож. И к тому же Бйчо человек семейный, как следует, жена, дочка, два сына; дом хороший; патриот, хозяин; не с Гайдушей какой-нибудь открыто живет (все это знают и понимают! И стыд, и грех, и бесчестие имени) Бйчо-Бакыр-Алмаз живет с женой законною, которая была одною из первых красавиц в городе когда-то; она женщина и добродетели непреклонной; ей один турецкий ферик или мушир³⁵ в её молодости предлагал двести лир в подарок, и она не взяла, отвергла их и осталась верна своему мужу.

Имение еще недавно новое они купили в горах; говорят, вода там превосходная ключевая и лес значительный.

Нет, Коэвино все блажит и хвастается. Я уверен, что г. Благов уважает Бакыр-Алмаза больше, чем этого, может быть и не злого, но все-таки беспутного Коэвино. Хороша честь с юродивым дервишем быть на одной степени! Безумный Коэвино!

В доме у Бйчо мне также очень понравилось. Такой обширный, хозяйский дом; двор внутренний услан большими плитами; цветы и кусты хорошие на дворе; весной и летом, вероятно, они прекрасно цветут. Покоев множество, ливаны просторные, старинные, кругом, ковры, зеркала большие, портреты европейских государей. Супруга пожилая, почтенная, в черном шелковом платье и в платочке. Идет от дверей к дивану долго, тихо, как прилично архонтисе; точно так же как и муж, говорит не торопясь и с достоинством. И во всем она согласна с мужем, во всем она ему вторит и поддерживает его.

– Погода хороша; но скоро начнет портиться, – заметил муж. – Зима. «Зимой всегда погода портится», – подтвердит и она. Муж едва успеет вымолвить: «Наполеон – прехитрейшая лисица!» а она уже спешит поддержать его и говорит с негодованием: «Ба! конечно, его двоедушие всем известно».

И я, внимая речам этих почтенных людей, радовался на их счастье и думал про себя, сидя скромно в стороне: «Не шумят и не говорят эти люди с утра до ночи, как доктор, но чтб ни скажут они, все правда. Правда что и погода к зиме всегда портится, это и я замечал не раз, правда и то, что хитрость императора Наполеона всем известна!»

Тогда, конечно, я не мог предвидеть, что Бакыр-Алмаз и жена его будут со временем мне тесть и теща, и что в этом самом обширном доме, в этой комнате, где я теперь так почтительно молчал, сидя на краю стула, будет уже скоро, скоро – о! как быстро льется время! – будет здесь в честь мне, именно мне, греметь музыка громкая, будут люди песни петь, прославляя меня, и вино пить, и есть, и веселиться, и дети будут ударять в ладоши, прыгая с криками по улице при свете факелов вокруг моей невесты.

И даже невеста моя будущая подавала мне сама тогда варенье и кофе, и я смотрел на нее рассеянно и думал: «дочка, однако, у них не так-то хороша. Худа слишком и очень бледная». Вот чтб я думал, принимая угощение из её рук.

И точно, маленькая Клеопатра была собой непривлекательна, личико у ней было как будто больное, сердитое или испуганное. Ей было тогда тринадцать лет, и не пришло еще время скрываться, по эфирскому обычаю, от чужих мужчин до дня замужества.

Когда она внесла варенье, Бакыр-Алмаз сказал отцу моему:

– Это дочь моя, Клеопатра.

– Пусть она живет у вас долго, – ответил отец.

Потом Бакыр-Алмаз велел поставить поднос и сказал:

– Она знает сатирические стихи на нынешнее правительство короля Оттона. «О, доколь саранча чужестранная... Доколе, о греки, баварец глухой³⁶... Несчастной отчизны...» Садись, Клеопатра, и спой эту песню; почти наших гостей.

³⁵ Военные генеральские чины.

³⁶ Известная на Востоке песня. Король Оттон был точно немного глух.

Клеопатра молчала.

– Спой, Патра, когда отец желает. Почти гостей, – подтвердила мать.

Но Клеопатра вышла тотчас же из комнаты, не говоря ни слова и с недовольным видом.

«Некрасивая и непослушная девочка», – подумал я тогда, и тем кончилось наше первое свидание. С того дня я ее почти до самой свадьбы моей не видал, ибо вскоре после этого ее уже перестали пускать в приемную при мужчинах.

В первое воскресенье, которое пришлось после нашего приезда, мы с отцом были в митрополии у обедни.

Старого митрополита нашего я видел не в первый раз. Года полтора тому назад он объезжал Загорье: служил обедню в нашем Франгадесе. Я при нем пел и читал Апостола; он дал мне целовать свою руку, хвалил мое усердие и сказал мне: «Вот ты начинаешь жизнь свою службой при храме. Начало доброе; смотри, чтобы птицы злые не расклевали эти благия семена. Не связывайся никогда с безумными юношами твоего возраста! Турок и тот хорошо говорит: «Дели-базар – бок базар»; то-есть – общество безумных есть рынок грязи».

Я поклонился ему в ноги и еще раз поцеловал старческую дрожашую его десницу. Краткая встреча эта, эта торжественная епископская служба, которую я в первый раз видел в нашей загорской церкви, милостивое внимание, которым отличил меня преосвященный Анфим от других моих сельских сверстников, все это оставило в сердце моем глубокое впечатление, и я ужасно обрадовался, когда увидел, что преосвященный еще бодр и крепок на службе. Он был росту огромного, и белая короткая борода очень шла к его полному и очень красному, но предоброму и даже иногда немного застенчивому лицу.

После обедни мы зашли к нему и застали у него несколько янинских старшин. Казалось, полное, примерное согласие царствовало между архипастырем и мирскими богатыми представителями христианской общины. Архонты (в их числе был и Бйчо) почтительно целовали его руку, низко ему кланялись, подавали ему туфли, говорили беспрестанно «преосвященнейший», «отче святой»; улыбались ему: он им тоже всем улыбался и, прикладывая руку к сердцу, называл то одного, то другого с большим, по-видимому, чувством «благословенный ты мой!» Я радовался.

Однако скоро разговор принял не совсем любезное направление, а одно слово преосвященного и мне показалось очень колким. Один из архонтов спросил его, доволен ли он последним своим путешествием по епархии. Преосвященный вздохнул, подумал и переспросил его: «доволен ли я путешествием по епархии?» Еще раз вздохнул и сказал наконец вот что:

– Всякое путешествие, благословенный мой, поучительно чем-нибудь. В этот раз я видел нечто, весьма полезное, видел людей, которые пасли овец и других людей, которые за свиньями смотрели. Боже мой, – думал я, – какая благодать кротких овечек пасти! Все они вместе, все согласны, куда одна, сердечная, бежит, бегут и другие. Пастырю доброму и радость. Совсем иное дело свинья. Пасти свиней это мука адская; с утра выгнали их вместе, а к вечеру уже и собрать их нельзя; они все разбежались по роще. Тогда что должен делать бедный пастух? Он раскалывает небольшую палочку, ловит одну свинью и ущемляет ей ухо. Услышав только визг этой свиньи, и вся остальная скотина сбегается в ту сторону! Вот что я видел, и на многие мысли навело меня подобное зрелище, благословенный ты мой.

Некоторые из старшин улыбнулись; другие громко засмеялись; Бакыр-Алмаз, который с архиереем был очень дружен, обвел все собрание торжествующим взглядом, постучал пальцем по виску, моргнув отцу моему глазом и сказал:

– Гм! понимаете?

Но красивый Куско-бей, который с небрежною важностью, хотя и все в том же отвратительном сюртуке, почти лежал в углу на диване, заметил на это довольно дерзко и с презрением в лице.

– Разные вещи бывают на свете!.. Но я полагаю, ваше преосвященство, что тот пастух и почитается больше, который умеет применяться к характеру пасомых!..

После этого Куско-бей встал и, поклонившись почтительно архиерею, вышел. За ним вскоре ушли и другие посетители; поднялся и отец; но преосвященный еще при других показал ему рукой и глазами на диван и сказал ему:

– Мы с тобой, кир Георгий, давно не видались. Я Загоры ваши всегда помню и, когда вижу вдаль высоты ваши из янинских окон, то всегда вспоминаю псалом: «Лучше день один во дворах Твоих, паче тысяч!»

Когда мы остались одни с архиереем, он указал рукою на дверь и сказал отцу:

– Видел их? видел ты их?.. Распри, корысть, зависть, лицепрятие. Увы! благословенный ты мой... Когда бы знал кто из вас, как тяжело и многотрудно положение христианского епископа в Турции!

– Знаем, святой отче, знаем! – сказал отец. – Епископ здесь не только пастырь церкви, он и народный начальник... Знаем мы вашу скорбь!

– Нет, ты не знаешь скорбей наших... Ты думаешь, что знаешь, ибо у тебя сердце мягкое, христианское, благочестивое. Вот ты и жалеешь иногда старика; думаешь, «трудно бедному старику!» А как трудно, почему – ты сердца моего не можешь понять... Скорбь мою, ты, мирской человек, едва ли можешь понять. Взгляни на этих богатых яниотов. Раздоры, вражда, я тебе говорю, зависть! Суммы, пожертвованные благодетелями Эпира на добрые дела, нехорошо расходуются. Ужасный грех! Простой народ наш янинский тоже раздачей этой денежной избалован. Все он беден, все он жалуется. Молодые работники наши отчаянные люди: разбойники, ножеизвлекатели. Турок самих не боятся. Не так давно один молодец ножом издали грозился старику Бакыр-Алмазу на празднике, чтоб и ему дали денег при раздаче. Влез на камни и показал Бакыр-Алмазу нож. Должны были и ему дать, хотя он молод и крепок. Но Бакыр-Алмаз вытребовал для него денег: «Не то, чтоб я его боялся, говорит, а не хорошо благородному человеку с таким разбойником дела иметь». А турки свое, а консулы свое, а наши попы и монахи, тоже и они не ангелы, сам знаешь! Наши люди говорят: «Когда же у нас колокола будут звонить? пора бы гатти-гумайюн исполнять!» А турки янинские говорят: «Погибнем все, а проклятого звона гяурского не услышим!» Трудно архиерею в Турции, трудно! К кому пойти о колоколах просить? с кем дружбу сводить митрополиту? С русскими? и турки, и англичане, и французы крик и шум поднимают... Патриарх советует осторожность, средним «царским путем идти!» Как же это идти? попросить западных представителей о колоколах? Скажу тебе: и сердце не расположено; я человек старый, из тех еще ржавых людей, которые говорили, что лучше чалму в Царьграде видеть, чем митру папскую... А к тому же, пойду я к англичанину – русского оскорблю! И этого не хочу, и не должно. А яниоты меня осуждают... Митрополит у них виноват все!.. Один из них недавно сказал: «Хорошо, что у протестантов епископы женатые! и апостол говорит: «Епископ должен быть одной жены муж...» Монахи люди жесткие и семейных дел не понимают ничуть».

– А что сами они делают, я тебе скажу сейчас: Приходит ко мне недавно протосингел мой и говорит: «Посмотрите, что у нас в Янине делается... Старая вдова Алексина дочь свою хочет за турка отдать». Я посылаю за вдовой. Не идет. Послал за ней кавасса, насильно привели. Привела с собой и дочь. Женщина смелая; остановилась вот тут в дверях, взяла дочь за руку и закричала не женским голосом, а лютым: «Отче! видишь ты сироту?» – Я говорю: вижу. Она опять: «Отче! видишь ты сироту?» Я опять говорю ей кротко: «Вижу, благословенная, вижу!» – «Возьми же ее; я уйду и откажусь от неё. Ты ей будь отец, если ты не дашь мне воли судьбу ей сделать...» Я и так ей и иначе говорю; нет сил. «Видишь ты сироту?» – Вижу. «Ну, возьми ее». Шум, крик, девушка плачет, скандал великий! В чем же дело? А вот в чем. Люди они точно бедные, отца нет; домик только есть один и больше ничего; кроме этой старшей дочери еще есть шестеро детей. Пришла она пред последнею раздачей милостыни к Куско-бею и гово-

рит: «Дайте мне на приданое сколько можно из благотельских сумм, я нашла ей жениха». А Куско-бей отвечает...

Тут архиерей остановился и посмотрел на меня... Отец хотел было удалить меня, но старец одумался и сказал: «Нет, пусть и он слышит все; пусть учится отличать добро от зла с ранних лет!..» И продолжал:

– Куско-бей говорит ей на это: достану ей двойное приданое, пусть ночует там, где я ей скажу. Ушла вдова. К другому, и другой то же: «я ей и своих прибавлю». Третий, постарше, говорит: «У архиерея проси, я не знаю этого». Еще один, тот говорит: «И беднее вас есть, у Куско-бея проси». Бакыр-Алмаз сказал: «Рад бы, но один без других и я не могу обещать». По несчастью увидел в это время дочь её один вдовый турок; человек лет тридцати, не более; хозяин, лавочку на базаре имеет. Понравилась турку девушка, он и говорит вдове: «Не ищи для дочери приданого, я ее возьму так. В вере же я, клянусь тебе, я стеснять ее не буду. И церковь, и пост, и все ей будет на свободе. Даже и попу приходскому, старику, не возбраню вход в жилище мое». Посуди, каково искушение? и посуди еще, каков скандал? Лукавая женщина в этот первый раз мне ничего не сказала искренно, а ушла отсюда и оставила тут дочь, закричала на нее: «Проклятие мое, если отсюда за мною пойдешь!» Долго сидела сирота и плакала здесь на лестнице. Насилу старуха одна и кавасс увели ее домой. «Чтобы не прокляла меня мать», боится сердечная. «На нас грех, на нас!» сказали мы ей все. Потом призвал я их с матерью при старшинах и при всех стал уговаривать ее, чтобы не выдавала замуж за турка. Тогда-то она стала вдруг как львица лютая и с великим гневом обличила при мне всех старшин. Верь мне, что от стыда я в этот час не знал, что мне сказать и что делать. Больше всех она обличала этого Куско-бея, и он не находил уже слов в свое оправдание; только гладил бородку свою, плечами пожимал и, обращаясь ко мне, говорил презрительно: «Клевета, святой отче, одна клевета. Все это от простоты и неразвитости происходит. Женщина неученая и неграмотная. Все это от того недостатка воспитания, которым страдает наш бедный народ...» Другие ему не возражают. Однако решили ей дать хорошее приданое, и она отказала турку и выдала теперь дочь за одного бедного христианина. Что ты на это мне скажешь, благословенный друг мой?

Не помню, что сказал на это архиерею отец мой; я был потрясен негодованием, слушая это, и с удивлением вспомнил о презрении, которое питал к архонтам этот, казалось бы, столь легкомысленный и безумный Козвино.

На время я совершенно перешел на его сторону и готов был признать его умнейшим и справедливейшим из людей.

В ту минуту, когда, уходя из митрополии, мы спускались с лестницы, на дворе послышался какой-то шум, раздались крики и мужские и женские. Мы увидели у порога толпу; слушатели архиерея, старухи, нищие, дети окружили осла, на котором лежала, испуская жалобные вопли, молодая женщина, в простой и бедной сельской одежде. Около неё стоял худой, высокий, тоже бедно одетый мужчина; лицо его было ожесточено гневом; волосы растрепаны; он спорил с дьяконом и произносил самые ужасные проклятия, и потрясал с отчаянием на груди изношенную одежду свою. Это был муж несчастной, привязанной веревками на спине осла. Так привез он ее из села; так сопровождаемый толпой проехал он чрез весь город до митрополии. Мы остановились; сам преосвященный вышел на лестницу.

– Что ты делаешь, варвар, с женою своею? – сказал он свирепому мужу.

– То, что должно ей, непотребной, делать, – отвечал муж, дерзко взглядывая на архиерея. – Я знаю свой долг, старче. Делай и ты должное, разведи меня с этою блудницей, или я убью ее.

– Молчи, зверь! – воскликнул старец, поднимая на него свой посох.

– Пойдем отсюда, – сказал отец, увлекая меня за руку. Мы вышли из ворот митрополии и долго шли молча и задумчиво. Наконец отец мой вздохнул глубоко и воскликнул: «Свет, суетный свет! Земная жизнь не что иное, как мука!» И я вздохнул, и мы опять пошли молча.

Так приятно началось и так печально кончилось это праздничное утро.

За завтраком доктор немного развлек нас. Он стал жаловаться на небрежное служение греческого духовенства, стал хвалить католиков (накануне ужасно бранил их за фанатизм), вскочил из-за стола и сперва представил в лицах, как должно кадить почтительно образам, читать и молиться с благочестием и солидностью, а потом стал передразнивать наших здешних попов, как они спешат и не уважают святыни. «Вот тебе Христос!» и прыжок направо. – «Вот тебе *Ай-Яни*³⁷» и прыжок налево!

Отец уговаривал его перестать кощунствовать, говорил: «Грех, Коэвино, грех». Но от смеха воздержаться и он не мог; я же до слез смеялся.

Доктор, наконец, устал, сел опять за стол и сказал: «Не мне грех, а тем, кто дурно литургисует; не мне грех. Бедный старик архиерей все-таки лучше их всех. Он и служит в церкви хорошо, благолепно. Я его за это уважаю. К тому же там, где нет, как у нас здесь, ни рыцарских преданий, ни чувства чести, ни высокой учености, ни, могу так сказать, аристократического воспитания, там остается одно – религия. Архиерей человек истинно религиозный; а эти архонты... эти архонты...

Опять мне пришлось согласиться с доктором. Я чувствовал, что он все возвышается и возвышается в моих глазах; я не понимал только того, что он хочет сказать своим аристократическим воспитанием?

Разве не аристократы Куско-бей и другие архонты? Роды их – старые торговые роды Эпира; они богаты, имеют хорошие дома, начальствуют над ремесленниками и сельскими людьми, садятся у консулов в приемной, имеют голос в митрополии и в Порте...

Посмотрим, что скажет об этом г. Благов; когда приедет, я, может быть, решусь спросить у него, если он попрежнему будет ко мне благосклонен.

³⁷ *Ай-Яни* – св. Иоанн Предтеча, по-простонародному.

VI.

Консулы не подчиняются у нас в Янине старому восточному обычаю, по которому живущий в городе делает первый визит новоприезжему.

Они и тогда, когда сами вновь приезжают, и тогда, когда наши местные люди после них прибывают в город, ждут первых посещений от нас. Между собой, как равные с равными, они следуют нашему примеру; новый консул ждет дома посещений от консулов, прежде его прибывших в Эпир. Исключение одно – паша. К нему как к сановнику, гораздо их высшему по чину, консулы едут первые. У эллинского консула отец мой был вскоре после приезда своего, но не застал его дома. Не застал он дома и г. Бакеева, который в отсутствие г. Благова управлял русским консульством. Я очень желал видеть г. Бакеева и посмотреть, какой он. На мое несчастье, он даже сам два раза заходил к доктору, на первой же неделе после нашего приезда, но оба раза меня не было дома. Один раз меня увел к себе на дом старик, ходжа Сефер-эффенди, чтобы познакомить меня с сынком своим, Джемилом, очень милым юношей, моих лет; а другой раз я, по приказанию отца, ходил кое-какие вещи покупать на базар.

Так я дней около десяти, думаю, прожил в городе и не видал еще ни одного иностранного агента. На второе воскресенье отец сказал мне: «Оденься и причешись почище: мы пойдем сегодня ко всем консулам». Он сказал мне при этом еще, что г. Бакеев много разговаривал с ним, когда в последний раз сидел у доктора, и приглашал его заходить почаще в консульство; принял из рук его те статистические тетради, которые мы заготавливали в Загорах по просьбе г. Благова, и даже просил его совета по тяжбному делу между одним турецким беєм и бедными христианами.

– Я знаю коротко это дело; оно старое, оно возобновлялось при двух пашах, – сказал отец. – И Коэвино крепко просил меня объяснить г. Бакееву всю правду. Г. Бакеев сказал мне: «Я вам верю. Я даже согласен показать вам ту записку, которую я составил об этом деле». Посмотрим.

– Кто же этот бей? – спросил я у отца.

– Этот самый Абурраим-эффенди, которого ты здесь видел, – отвечал отец.

– А как вам показался г. Бакеев? – поспешил спросить я с любопытством.

Отец улыбнулся и подумал; потом сказал:

– Ни первого номера, ни самого последнего, а среднего. Не той выделки, к которой относится наш Благов, а подешевле. Вот сам увидишь.

Я оделся и причесался не без волнения внутреннего; мне было и приятно и очень страшно, что я пойду теперь ко всем представителям европейских держав. Феска у меня была новая, но полосатый халатик мой (хотя тоже свежий и из хорошей материи) и верхняя широкая одежда моя из тонкого серого сукна меня очень тревожили и смущали. Ах, как я бы рад был в эту минуту самой дешевой европейской жакетке. Был может и консулы подумают про себя то же самое, что Коэвино громко сказал: «Этот молодой мальчик носит «турецкий саван». Но, что делать? Терпение! Имя эллинского консула было г. Киркориди; многие полагают, что родной отец его был из армян. Он давно состоял на службе по разным городам Турции. Все в городе про него говорили, что он человек опытный, но слишком осторожный, смирный и тяжелый и потому ни вреда, ни пользы большой никому не делал. Он был вдов и жил скромно и уединенно, с незамужнею дочерью, уже не слишком молодою.

Жилище его было бедно и довольно пусто.

Мы увидели здорового, свежего, очень толстого старика, степенного, солидного, действительно очень осторожного.

Принял он отца – не мог я и понять – хорошо ли, худо ли. Как будто внимательно, а вместе с тем как будто и холодно. Отец тоже хитрый; начал его испытывать понемногу. Это я сейчас

же понял. Сперва он рассказал ему о своем затруднительном положении в Тульче и о том, что от английского вице-консула Вальтер Гея видел больше защиты, чем от своих греческих консулов, и прибавил, что он и теперь очень боится быть вынужденным прежде времени отсюда уехать с больными глазами.

– Да, неприятно, – говорил консул. И потом прибавил, вздохнув: – Турция!

Потом отец стал говорить про г. де-Леси, здешнего английского консула.

– Я его давно знаю, – сказал отец, – он у меня дом нанимает. Стар, ничем не занимается, кавасса своего, турка, говорят, во всем слушается.

На это консул наш отвечал:

– Да. Он в летах, это правда. – И только.

Отец опять: – Дел не любит.

А консул: – Что ж их любить? За что? человек аккуратный, почтенный. Люди везде много слишком слов говорят. Всему верить нельзя.

Отец похвалил г. Благова, и консул согласился: – Прекрасный молодой человек; умный молодой человек.

Отец говорит: – Не молод ли слишком для своей должности?

А консул: – Молод, но очень хороший человек.

Отец спрашивает: – Вот про управляющего, г. Бакеева, не так-то хорошо отзывается общественное мнение. Проще, говорят, Благова умом?

– Не верьте, – сказал Киркорида. – Не верьте людским разговорам. Он тоже очень хороший человек. Он и учен. Имеет золотую медаль из университета русского.

– Я думаю зайти к нему. Как вы скажете, ваше сиятельство? – спросил отец.

– Зайдите, зайдите, – отвечал Киркорида. – Ко всем иностранным агентам зайдите. Отчего не зайти и не представиться? И к французскому консулу зайдите. Великия три державы, которым Эллада равно обязана. Вы знаете, мой долг защищать ваши интересы; хотя ваш паспорт и неправилен. Но турки подозрительны, а мы не сильны, и личное знакомство ваше с консулами облегчит ваше положение. Жаль, что у нас в Греции так охотно выдают турецким подданным паспорта. Это большое неудобство!

Все это он говорил тихо и равнодушно и толстыми пальцами по столу барабанил.

Отец встал и говорит:

– Позвольте, господин консул, снять с вас бремя моего посещения.

А он как будто бы обрадовался.

– А! – говорит: – куда же это вы? Спешите, вероятно? Прощайте. До свидания.

От него мы пошли к г. Корбет де-Леси, великобританскому консулу. Он (ты, вероятно, не забыл этого) нанимал давно наш янинский дом и платил за него нам очень хорошие деньги.

Мы очень обрадовались, когда увидели, в каком порядке держит он все наше хозяйство. Двор был чист; сад и цветник мило зеленели, несмотря на осеннее время. Не видно было ни одной сорной травы, ни щепки, ни бумажки, ни разбитой посуды, как бывает у других. По большому двору ходили павлины; красивые красные утки не здешней породы плавали в маленьком мраморном бассейне, который посреди двора нашего устроил англичанин на собственный счет.

В особенном, очищенном и огороженном месте, у г. Корбет де-Леси разводились в последнее время белые куры и петухи. Он был уже стар, холост и должно быть скучал. Несколько лет тому назад он еще любил охотиться и держал хороших верховых лошадей. Но с годами охотой он начал тяготиться; что касается до лошадей, то он их всех продал вдруг, в досаде на своего конюха. У него был тогда прекрасный конюх, молодой полу-араб, бронзового цвета, сын того юродивого дервиша ходжи-Сулеймана, который меня так и напугал, и насмешил у доктора в доме. Консул наряжал богато молодого сеиса в разноцветные и разукрашенные куртки и шаровары и давал ему много свободы, требуя только одного – послушания и чистоты. Однажды сеис подвел ему лошадь. Г. де-Леси хотел ехать к паше. Заноса ногу в стремя, консул

увидал вдруг на этом стремяни кусок прилипшей грязи. Он сказал тогда со вздохом: «У меня нет слуг! Я такой службы не называю службой». Отправил лошадь назад в конюшню; пошел к паше пешком; араба расчел в тот же день и отпустил его, а лошадей тотчас же продал.

С тех пор он стал заниматься археологиею византийской и белыми курами. Он хотел сделать их как можно более хохлатыми и не желал видеть на перьях их ни малейшей желтой или черной отметины.

По несколько раз в день он сам посещал их и заботился усердно обо всем, что до них касалось.

Зная эту страсть его, отец мой привез из Загор очень большого и хорошего петуха, почти совсем белого, и курицу в таком же роде.

Они кормились у доктора; мы с Гайдушей все время смотрели за ними; в этот же самый день, когда мы с утра собрались делать консулам визиты, отец послал еще прежде себя пораньше нарочного человека с петухом и курицею к де-Леси. На дворе, однако, мы их напорасно высматривали, их не было с другими курами.

Полюбовавшись на прекрасное хозяйство, мы вошли, наконец, в разубранное жилище. Я был поражен! Комнаты наши были полны древностями, раковинами, редкими камнями из гор; китайскими, сирийскими, персидскими пестрыми вещами; разною мелочью; на столах стояли ящики под стеклами, с древними монетами и другими антиками. Книг было много, в золотых и разноцветных переплетах; хороших гравюр и картин так много и на стенах, и по столам, что я в одно посещение не успел их рассмотреть. Ковров и ковриков разной величины, ценности и цвета было везде множество. Как выставка! В большой приемной диван был турецкий, крытый желтым атласом, и страшный тигр, разостланный около него, глядел на посетителей большими стеклянными глазами, как живой.

Сам консул был стар; он казался старше Киркориди и больше походил, по-моему мнению, на капризную старушку, чем старца. Ростом маленький, лицо то веселое, то сердитое, красное прекрасное, головка белая, немного трясется; борода и усы гладко выбриты. Чистенький, чистенький; на руках рукавчики не такие, как у других, а мягкие и со сборками, как у дам.

Несмотря на двукратное приглашение консула, я долго не смел и сест даже на желтый шелковый диван. Такой материи на диване я никогда еще не видал, и мне все казалось, что здесь может сидеть только сам великий визирь или, по крайней мере, такой раздушенный ароматами и даже в дороге в бархат одетый паликар благородный, как мой будущий благодетель г. Благов. Сел, однако, вспоминая приказание отца не быть слишком уже диким и чрез меру не стыдиться.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.